

Военные приключения

ТРОТ В УЩЕЛЬЕ ЖЕНЩИН



ГЕННАДИЙ АНАНЬЕВ

Геннадий Андреевич Ананьев

Грот в Ущелье Женщин

Серия «Военные приключения»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8707262

Грот в ущелье женщин / Ананьев Г.А.: Вече; Москва; 2014

ISBN 978-5-4444-7761-8, 978-5-4444-2103-1

Аннотация

Тяжела служба на Дальнем Севере, где климат может измениться в любую минуту, а опасность поджидает за каждым углом. А тут ещё летят над приграничной зоной загадочные шары-разведчики... Но капитан Полосухин, старший лейтенант Боканов, капитан третьего ранга Конохов и их боевые друзья делают всё, чтобы исполнить присягу на верность Отечеству, данную ими однажды.

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	29
Глава третья	47
Глава четвертая	68
Глава пятая	99
Конец ознакомительного фрагмента.	118

Геннадий Андреевич Ананьев Грот в ущелье женщин

Глава первая

Море монотонно вздыхало, медленно переваливая корабль на своих волнах, и эти тяжелые вздохи, пробиваясь сквозь непроглядную темноту, угнетали; и та подавленность, которая возникла у меня после того, как мне сообщили о трагедии на заставе, то раздражение, которое неожиданно вспыхнуло только что в кают-компании, не проходили. Да и оправдать капитана 3-го ранга Конохова, командира корабля, которого пограничники на всем Баренцевом море называли не иначе, как «северный волк», я не мог. Не проходила и тошнота. Особенно сильно подкатывала она к горлу, когда нос корабля медленно спускался в провал между волнами.

Промерз я уже до самых костей, но оторваться от леера не решался. Не хотел видеть покровительственную улыбку Конохова, слышать его задорный, покровительственный голос; не хотел идти и в каюту корабельного врача, в которую меня определили на время рейса, — я понимал, что не выдержу этой монотонной качки на крутой зыби в каюте с непривыч-

но теплым и сухим воздухом, боялся, что кому-то придется ухаживать за мной, как за больным.

«Превосходство показывает», – думал я о Конохове с неприязнью. Совсем иным представлялся мне этот пожилой моряк по прежним коротким встречам. Первое знакомство с ним состоялось прошлым летом, через неделю после моего приезда на заставу. Ночь удалась безветренная и солнечная, вот и вышли все, кто не был на службе, ремонтировать причал. Так рассудили: днем комаров больше, да и ветер вдруг поднимется, а поспать и днем можно.

Заменяли мы подгнившие и поломанные доски, да так увлеклись работой, что не сразу заметили шлюпку, которая вошла в реку. А когда о ней доложили мне, я залюбовался, как шесть пар весел единым взмахом рассекали воду и шлюпка летела вверх, словно атайка, хотя море отливало и встречное течение было довольно сильным. За рулем сидел тучный капитан 3-го ранга и рубил воздух рукой, отсекая такт гребцам.

Через несколько минут шлюпка мягко коснулась бортом причала и прилипла к нему, удерживаемая жилистыми руками матросов. Тучный моряк удивительно легко выпрыгнул на причал, энергично снял лайковую перчатку, подал руку и, отрубая слова, представился:

– Конохов. Степан Степанович. Командир «охотника». На Баренцевом добиваю третий десяток.

Моя рука, грязная, в ссадинах, утонула в его пухлой, хо-

ленной ладони.

– Извините, руки у меня, – начал было я оправдываться, но он энергично перебил:

– Рабочая грязь, старшой! Рабочая!

Глаза у него карие, пронзительные. Густые бакенбарды на пухлых щеках и такая же густая борода, расчесанная от середины вправо и влево на две равные половины. Среднего роста, круглый, он скорее был похож на директора кондитерской фабрики, выпускающий аппетитные торты; только погоны на кителе да четыре ряда орденских колодок с «Нахимовым» говорили о том, что Конохов – боевой командир.

– Не встречал тебя прежде. Давно у нас? – внимательно глядел на меня морской волк.

– Восьмой день.

– Да, стаж, – с улыбкой проговорил он. – Замполит?

– Да.

– Откуда?

– Их Забайкалья.

– Значит, наш. Приживешься. Не так страшно Заполярье, как его малюют. Берег наш все же – южный.

Он вроде бы знал, что в те первые дни на душе у меня было тоскливо. Да и откуда бы взяться хорошему настроению: квартиры нет, застава непривычно маленькая, тонет в песке, а море надоедливо, до боли в голове, хлопает без устали о берег. И никуда не сбежишь от всего этого. Гражданский человек волен выбирать себе место для работы и жизни, во-

енный же, особенно пограничник, обязан служить там, куда получит назначение. И то подумать, граница – край родной земли. Много ли городов на этом краю? Много ли вольготных мест?

– Рыбака в себе не прячешь? – задорно интересовался Конохов и сам же отвечал: – Здесь рыбы – руками лови. И охота отменная. Край веселый!

«Настоящий заполярец, – подумал с уважением я тогда о Конохове – И душа нараспашку».

Еще одна встреча произошла в море. Стрельбище мы тогда переоборудовали. Телефонограмма пришла: «Подготовить на стрельбище установку для стрельбы по движущимся мишеням. Исполнение донести».

Всего несколько слов, а уравнение со многими неизвестными. Где рельсы раздобыть? Колеса для тележки? Рамы и оси? Еще и ручку для ворота? На «большой земле» к шефам бы поехал (на завод или в колхоз) – и все проблемы решил. Одно легко решаемое: любой трос, даже капроновый, последнее слово науки и техники – не проблема. Заводи катер, пересекай салму и подходи к любому сейнеру. Не откажет ни один капитан. А рыбаки часто гостят у нас. Особенно много их, когда штормит. Укрываются за островами от волн и ветра. Но трос – не решение всей проблемы, не выход из положения. Но телефонограмма, однако, категорична: исполнение доложить. Пришлось вспомнить народную мудрость: ум хорошо, а два – лучше. Собрались думку думать

всей заставой.

Видел я в кино новгородское вече, так вот примерно то же самое происходило и у нас. Только вечевого колокола не доставало. Предложения сыпались как из рога изобилия, и каждое вполне можно было отправлять на конкурс «и в шутку, и всерьез». Только начальник заставы капитан Полосухин помалкивал. Вроде бы даже доволен, что мало толку от всего этого шума.

Но вот поднялся молчавший до этого ефрейтор Гранский. На заставе его называли либо «историком», либо «стариком». Он и в самом деле был на два года старше всех остальных солдат. После десятого поступил в институт на исторический факультет, конкурс осилив. Учился тоже успешно, но родители подвели: на радостях волю дали. Купили магнитофон, без упрёка выдавали деньги, порой с гордостью рассказывали приятелям о «модных» вечеринках сына: дескать, прекрасно – без стульев и столов, прямо на полу трапезуют. Завалил Гранский на втором курсе экзамены, вот и отчислили его из института. В пограничные войска попросился сам.

Влияние на сослуживцев он имел большое. Так сказать, неофициальный лидер. Поднялся, значит, Гранский и стоит, ждет, когда все примолкнут. Кто-то громко возвестил: историк держать речь хочет, и споры приутихли.

– Не речь держать, а конкретное предложение вношу, – возразил Гранский. – Известно ли вам, неучи, что поморы строили дома без единого гвоздя? А церкви какие рубили! И

тоже без железных гвоздей. Не известно? – Гранский обвел всех насмешливым взглядом и продолжил: – Корабли вон какие были. Известные всему миру. Их тоже шили вицей. И учтите, у поморов не было таких многолюдных научных институтов, не располагали они и теперешними достижениями прогресса, что имеет человечество сегодня. Вот я и предлагаю, используя нынешний прогресс и основываясь на опыте предков, обойтись без железа, которое на севере особенно ржавеет. Мы давайте изготовим рельсы из дерева. Для осей вполне подойдут ломы. Ворот, чтобы таскать мишени, позаимствуем у наших древних предков.

Гранский был прав. Бревна, ровные, мачтовые, во всех губках торосятся. То ли слизывает их с палуб лесовозов в шторм, то ли из рек во время сплавления упускают нерадивцы, а море, потаскав их на своих плечах, вышвыривает на берег. Вполне можно связать из них плот и прибуксировать на заставу.

После недолгих словопрений определили место: губа Ветчиной крест. Бревен там больше, чем в других губках. Далековата она, миль семь, зато на малой воде оголяется бухта более чем до половины. Вот и разработали такой план: высаживаемся в губе на средней воде, а пока она отливает, разбираем завалы, отделяя самые лучшие лесины, на малой же воде сбиваем из них плот посредине губы. Прикинули – до прилива успеем.

На следующее утро взялись за дело. Но как частенько бы-

вает, теория с практикой не всегда уживаются, особенно когда дело новое. Тут каждый и рационализатор, и непрерываемый знаток. В общем, едва мы успели. Уж вода подступила, когда мы последний гвоздь вбивали, последнюю петлю веревкой вязали. Зато плот сделали по новейшему образцу – сигару. По утверждению заставских знатоков, она самая надежная для транспортировки по морю. Десятибалльную штормягу выдержит. А тут – полный штиль. Без помех дойдем.

Только не зря же есть мудрое предостережение: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Миля две отошли от Ветчинного креста, обогнули Островные кошки, и тут потянул ветерок. Так себе, всего балла два. Но встречный, вдоль салмы. И волны-то почти никакой. Только рябь. А сигара наша удлиняться начала. Потом смотрим, выскользнуло одно бревно, за ним второе, третье. Один выход – заново крепить плот. Благо, гвозди и веревка остались.

– Самый малый, – приказываю мотористу ефрейтору Нагайцеву и объявляю всем остальным: – Подтянем плот к борту и еще раз укрепим бревна.

Легко сказать – укрепим. А как исполнить желаемое? В каждое бревно нужно вбить гвоздь, не плотно, чтобы можно было накинуть на него петлю и натянуть веревку к другому гвоздю – вот так, бревно за бревном. Часа на два работы. Но не бросать же плот. Забиваем мы гвозди, петляем веревкой, а она толстая, чуть гвоздь лишку вколотил, не держит,

соскальзывает, а тут еще и волна повыше стала; все мы вымокли и порядком устали, и немудрено, что никто не заметил, как пеньковый буксир сполз за борт. Спихватились, когда уже было поздно, когда его вдруг стремительно потянул вниз, а мотор натужно завыл. Поняли: буксирный канат наматывается на винт. Ногайцев кинулся к мотору, заглушил его, и сразу стало непривычно тихо. Только волны плескали по борту катера и по плоту.

Ногайцев перегнулся через корму, долго смотрел вниз, а мы, бросив работу, ждали, что он скажет. Катер тем временем начало сносить на Островные кошки, где море пенилось и бурлило.

– Мотков десять, – распрямившись, угрюмо сказал Ногайцев. – Багром попробую сбросить. А то придется лезть в воду.

Минут пять возился Ногайцев, прежде чем смог снять одну петлю с винта. Стало быть, нужно около часа для полного освобождения. Не успеет, на рифы снесет раньше. Я уже стал намечать, кто за кем станет спускаться к винту в студеную воду, сам определил себя вторым, за Ногайцевым, но тут мы увидели нашего «охотника». Полным ходом шел он за островами.

– Ракетницу! – крикнул я, боясь, что корабль скроется за следующим островом и не увидит нашего сигнала, но тут же ругнул себя за несдержанность и приказал уже совершенно спокойно: – Дайте сигнал «спешите на помощь».

Но прежде, чем солдаты достали ракетницу из носового рундука, корабль резко лег на левый борт и пошел между островами к нам.

– Капитан 3-го ранга Конохов! – обрадованно воскликнул Ногайцев. – Порядок!

– Почему именно он? – удивился я, не понимая, по каким признакам так уверенно определил моторист. Все «охотники» одинаковы, а бортового номера еще не различить

– Кто, кроме него, без сигнала поймет, что мы в беде? – вопросом ответил мне Ногайцев. – Кто, кроме его рулевых, так лихо на новый курс ляжет?

И в самом деле, к нам подходил корабль Конохова. Сам командир стоял на мостике. Мягко подвел корабль к вельботу и крикнул:

– Что, пехота-кавалерия, в одном конце запутались? Это вам не веревка. Давай все на борт. Отогреваться. Вячеслав, и ты, горе луковое, давай сюда.

– Не уйду с катера, – буркнул в ответ Ногайцев.

– Ишь ты, обиделся... А катер кто блюсти должен? Старший лейтенант, что ли? Так он недавно только с седла слез. Говорю, давай сюда, значит – слушайся.

Подчинился Ногайцев, полез по штормтрапу вслед за нами.

– Вот так – лучше, – удовлетворенно проговорил Конохов, затем спросил меня: – Решил дровишками запастись? Давно говорю, сподручней заставам дрова заготовливать самим.

Без надрыва. И не осина гнилая по берегам.

– Не дрова, – ответил я. – Стрельбище переоборудовать приказано.

Я тогда еще не мог оценить всей выгоды, которую несет предложение Конохова. Скользнули мимо слова «без надрыва», и все. Вспомнил я о них через месяц, когда в салме бросил якорь логгер с дровами для заставы и дал радиogramму, чтобы разгрузку мы провели за двое суток.

– То причал, теперь – стрельбище, – с явным одобрением проговорил Конохов. – Как муравьи. И ты все с ними. Личным примером? Лучшие традиции комиссаров?

– Скорее, чтобы познать море. Чтобы на вельботе чувствовать себя, как в седле, – ответил я и не удержался, чтобы не добавить: – По конному спорту, между прочим, у меня первый разряд.

– Курс выверен, – раздумчиво сказал он и вдруг спросил: – Пойдешь ко мне замполитом?

– К чему такие разговоры? Каждому свое: моряку – море, кавалеристу – седло.

– И то верно. Пошли, старшой, пить чай, – пригласил он и, не ожидая согласия, пошагал в кают-компанию.

Когда кок поставил на стол в тяжелых подстаканниках стаканы, до краев наполненные приятным на цвет, как червонное золото, чаем, командир, энергично отхлебнув глоток, спросил:

– В шахматы, старшой, играешь?

– Приятно посидеть за доской.

– Жаль, нет времени. Ребята вмиг управятся. Ну, ничего, в другой раз. Поглядим, что стоит кавалерия?

Не успели мы допить чай, как в кают-компанию вошел ве-
стовой и доложил:

– Товарищ командир, винт у вельбота чист, плот укреп-
лен.

– Мотор проверили?

– Так точно, товарищ командир. Механик сказал: как ча-
сы. Катер в порядке. Как у нас на корабле.

Эти слова Конохов воспринял с явным удовольствием, а
потом, на палубе, крепко пожал руку Ногайцеву и похвалил
его:

– Молодчина, Вячеслав. Не зря тельняшку под солдатской
робой носишь. Не зря.

Ногайцев смотрел на Конохова влюбленно. Его белесые
брови были вздернуты, глаза широко раскрыты, а на лице,
казалось, застыло восторженное умиление. Эта восторжен-
ность осталась на лице Ногайцева, когда он спустился в вель-
бот и подошел к работающему двигателю. В порыве нахлы-
нувших чувств погладил он горячий металл, проговорив,
вроде бы самому себе:

– Как отец. Вот это – человек!

Позавидовал я тогда Конохову.

Больше мы с ним не встречались. И вот сегодняшнее утро.
Почти месяц, как я находился на учебном пункте. Что твоя

белка в колесе. С подъема до отбоя. А когда солдатики-юнкеры уткнули стриженные головки в подушки, время наступает садиться за конспекты, готовиться к завтрашним занятиям. Утром же приходится вставать раньше солдат, чтобы успеть к подъему во взвод. Нагрузочка та еще.

Вот и сегодня пришел я, как обычно, на подъем, чтобы присутствовать на физзарядке. Молоденькие солдатики, нежнолицые, не пробудившиеся как следует, стоят нахохлившиеся, будто птенцы беспомощные, поворотившись спиной к ветру. Сейчас я скамандую: «За мной. Бегом марш!» – и они вяло потопают еще непривычно-тяжелыми сапогами по кочкастой земле, но каждый новый шаг станет взбадривать их, и скоро новобранцы начнут даже подшучивать друг над другом, я же буду бежать впереди и делать вид, что не слышу разговоров, неположенных в строю. Я уже сказал громко: «Взвод!..» – но в это время услышал крик дежурного по учебному пункту:

– Товарищ старший лейтенант, срочно к телефону. Начальник отряда!

– Меня? – недоверчиво переспросил я. Мне подумалось, что я что-то не так понял. Звонок начальника отряда на заставу – явление не так уж и редкое, он бы меня нисколько не удивил, но сюда, на учебный пункт, где я выполнял обязанности взводного, так просто не позвонит командир. Не собирается же он узнать, нормально ли я провожу физзарядку со взводом?

Я побежал к казарме, а в голове сразу зародились тревожные вопросы. Подумал о жене, оставшейся на заставе, о матери. Подумал и о заставе. Жадно схватил трубку и торопливо доложил о себе. В ответ услышал:

– Вот что. На заставе замерз солдат, – начальник отряда говорил жестко, отрывисто. – Поморозил ноги начальник заставы. За вами вышел корабль капитана третьего ранга Конохова. Будет через тридцать минут.

И только. Никаких пояснений. Он всегда так: скажет самую суть, а о деталях догадывайся. Знать же хотелось все: кто замерз, на каком фланге и, главное, как могло такое случиться.

Обычно, когда налетает пурга, все наряды немедленно идут к линии связи, либо на обогревательные пункты и сразу о себе сообщают на заставу; а если какой-нибудь наряд не выходит на связь, поднимается вся заставка, рыбаки приходят на помощь, оленеводы-пастухи, и начинается поиск. И даже старожилы не припомнят такого случая, чтобы не находили сбившихся с пути или обессиленных пограничников. Отчего же сейчас не спасли солдата? И почему замерз он один? С кем в паре он был в наряде? Почему, наконец, обморозил ноги начальник заставы капитан Полосухин?

Бесплодность всех тех вопросов для меня была очевидна, но что мог поделать с собой? Человеку не свойственно оставаться спокойным в неведении, а я такой же человек, как и все. Торопливо укладывал я в чемодан вещи, отдавая распо-

ряжения помкомвзводу, словно уезжал я не насовсем, а лишь на денек-другой, мыслями в то же время я уже был там, на заставе. Надеялся узнать хотя бы немного подробней о том, что там стряслось, от Конохова. Я спешил, словно от того, как быстро я соберу вещи, так быстро прибудет корабль.

Увы, корабль не причалил даже через час, и мне пришлось довольно долго торчать на холодном пирсе, вглядываясь в штормовое море и пытаясь увидеть ходовые огни. Но даль была непроглядно-темная, гудящая, а у пирса серчали волны: то хлестали в бетон и разваливались на сотни искрящихся в свете фонарей брызг — холодных и тяжелых, как льдинки; то свинцово тяжелели и угрюмо отползали в темноту.

Что море штормит, я понял, еще когда стоял перед строем не совсем пробудившихся солдат, слышал его монотонный, приглушенный расстоянием и оттого кажущийся добродушным шум; но не верил обманчивому добродушию и представлял себе, как рыболовецкие траулеры и даже средние транспортные суда спешат укрыться от ветра и волн за острова, либо в удобные губы, и только океанские громадины продолжают идти намеченным курсом, пропарывая встречные волны, но и они вынужденно сбавляют скорость — если море штормит, неуютно на нем чувствуют себя корабли. Но одно дело знать, что на море шторм, другое дело видеть самому, как волны грызут обледеневший причал, сердито бодают гранитные утесы, темневшие справа от пирса. Разница большая даже для человека, начавшего только что познавать

море. И я невольно ежился.

Корабль все не подходил. Я уже начал сомневаться, придет ли он вообще в такой шторм, и все чаще стал поглаживать на дорогу, идущую от военного городка: не появится ли на ней посыльный, чтобы вернуть меня в теплую казарму переждать шторм; но посыльный не показывался, и я вынужден был ходить по скользкому пирсу или делать короткие пробежки по берегу, чтобы согреться. Но те пробежки помогали мало. Бегай не бегай – полушубка из шинели не получится. Проку от нее на холодном ветру мало. Насквозь продувает.

Обзывал я себя олухом царя небесного за то, что надел сапоги, подумав, что на корабле сухо и жарко. Мог бы переобуться потом, в каюте. И вот теперь расплачивался за свое легкомыслие – то ходил, то бегал, то приплясывал и хлопал по бокам руками. Вернуться в городок, однако, не решался.

Часы показывали одиннадцать, а это значит, скоро мрак полярной ночи перейдет в сумерки и тогда нелегко будет увидеть ни ходовые огни корабля, ни сам корабль – все сольется, растворится в той серости, и выползет из нее «охотник», когда до берега останется лишь рукой подать.

Так оно и получилось. Полярная ночь уступила место серому полярному дню, ветер начал немного утихать, волны поубавились, и в серости полярного зимнего дня все кругом казалось серым, размытым, невзрачным; даже гранитные утесы, которые здесь называют быками, – они и впрямь похожи на склоненные к земле твердолобые головы свире-

пых быков – сейчас выглядели не так угрюмо, словно набросили на них вуалевую накидку; и вот в это самое неподходящее время появился «охотник», такой же, как все вокруг, серый, размягченный, похожий на призрак. Он то проваливался между волнами, то повисал на пенистом гребне, чтобы через мгновение вновь скользнуть вниз.

«Рискует Конохов, – с уважением подумал я о командире корабля. – Не каждый отважится в такой шторм идти в море. Добровольно, наверное, вызвался?»

Корабль вынырнул почти рядом, и я услышал задорный голос Конохова, усиленный мегафоном:

– Швартоваться, пехота-кавалерия, не будем. Как подойдем к пирсу, прыгай.

Все, конечно, верно. Прыгать придется. Но это же не в седло на полном скаку. Причал, как каток. Особенно у края. Подошвы же хромовых сапог, естественно, без шипов. Да и чемодан фибровый битком набит. Тяжелоющий. Одно неверное движение и... вон та волна укроет белой периной, вместо савана.

Палуба корабля тоже обледенелая. Ни один здравомыслящий человек не захотел бы оказаться на моем месте. А я вот жду почти спокойно, когда судьба решит, что со мной сделать. Ветер треплет полы шинели, волны плюются, сапоги из глянцевого превратились в пегие – вроде бы мне все до лампочки. Спокоен внешне. Иначе моряки подумают, что трушу.

Но вот отлегло от сердца: на палубе появились матросы с причальными баграми.

«Схватюсь за багор и – на палубе, – обрадовался, но тут же подумал о чемодане: – С ним как?»

Корабль еще метра два не дошел до причала, а один из матросов крикнул:

– Товарищ старший лейтенант, бросайте чемодан!

Я поднял его двумя руками и толкнул со всей силой на приближавшуюся палубу, и хотя расстояние было совсем маленькое, чемодан все же едва долетел – он упал на леерную стойку, и если бы хоть чуточку промедлил матрос, нырнул бы в пучину; но матрос ловко подхватил его.

Раскачать бы чемодан одной рукой и кинуть. Хорошие мысли, однако, приходят в основном, когда они уже не нужны. Да и до хороших ли мыслей мне было тогда? Толкнув чемодан, я почувствовал, как ноги мои скользят по льду причала, я начал ловить воздух руками, но в это время справа и слева от меня мелькнули, как копья рыцарей серые багры. Вцепившись в них, я перелетел волну, вздыбившуюся между кораблем и причалом, и чудом, как мне показалось, очутился на палубе – матросы подхватили меня под руки, чтобы, если поскользнусь, не оказался бы за бортом. Сами же они стояли на палубе твердо, словно вросли в нее корнями.

А корабль уже пятился. Он так и не коснулся причала, прищемил волну и – отошел. Так тонко рассчитал Конохов. Я смотрел на удалявшийся причал, на волны, тяжело бивши-

еся о бетон, и с запоздалым страхом думал о том, что произошло бы, подойди корабль еще чуточку ближе, вовсе забыв, что меня все еще поддерживают матросы и что нужно поскорей уходить со скользкой, неудобной палубы.

Так и не отпустили меня матросы, поддерживали, как немощного старца, пока не перешагнул я порога и не оказался в узком коридорчике.

– Командир приказал проводить вас в каюту врача, – встретил меня приветливым приглашением вестовой.

Глядел я на этого молодцеватого парня в ладно сидевшей на нем безукоризненно отутюженной форме, и чувство полного покоя моментально оттеснило тревожность и неуверенность. Удивительно далеким показалось только что пережитое – я бодро зашагал за вестовым.

Каюта, в которую привел меня вестовой, была совсем крохотной, с маленьким, словно игрушечным, диванчиком, возле которого плотно был прикручен к полу розовый полированный столик. Над ним – такая же розовая полочка с книгами. Воздух сухой, непривычно теплый. Жаркий, можно сказать. Вестовой радушно, как добрый хозяин, пригласил располагаться и попросил разрешения выйти.

Оставшись один, я вдруг представил, что думаю обо мне матросы. Признаться, тоскливо стало на душе. Я почувствовал необычную для себя вялость и безвольно опустился на диванчик. Стыд за свою неловкость угнетал меня.

А может, разморило тепло?

Довольно долго сидел я на диванчике, все хотел поднять-ся, снять шапку и шинель, переставить стоявший у двери чемодан к переборке, но вместо того незаметно для себя стал засыпать, но тут же встрепенулся, открыв глаза, – куда девалась вялость, мысли тревожные, волнующие вновь зароились в голове: что все же произошло на заставе? Конохов же, который многое, наверное, мог прояснить, не спешил покинуть мостик, поэтому нужно идти к нему. Я встал, снял и повесил на вешалку шинель и шапку, открыл чемодан, чтобы достать щетку и навести глянец на сапоги, и в этот самый момент в дверь каюты настойчиво постучали, и тут же она распахнулась. В каюту энергично вошел Конохов и, разглаживая свою бороду, спросил задорно:

– Как, пехота-кавалерия, травить не начало еще?

– Вряд ли будет. Я на кораблях пустыни много ездил. На верблюдах.

– Ну, герой, пехота-кавалерия! – воскликнул он восторженно и, почти не изменяя тона, сказал совсем о другом: – Путь далекий, в шахматы теперь уж выберем время.

Мене были неприятны и энергичная веселость Конохова, и его вопросы. Я сказал с обидой:

– До игры ли? Надеюсь я, что о заставе расскажите, а вы...

Конохов посерьезнел. Нахмурился. Разгладив бороду, вздохнул:

– Боевых товарищей терять всегда, старшой, больно. Я-то

знаю. И стылую землю долбил для могил и к ногам колосники привязывал. Поверь мне, такое легко не делается. И все же – живой о живом должен думать. Ну, это – к слову. А на заставе? Трудно тебе, пехота-кавалерия, придется. Во всем вина начальника заставы. Только так ли это? Не уважаю я его – занозистый. Рубить с плеча, пехота-кавалерия, при том при всем не советую: разберись. Для себя разберись. А вот сушить весла, никак не советую. Не поймут тебя. Здесь, старшой, студеные края. Если невыверенным курсом идти, в торосах застрять можно.

– Зачем же так?! Я же – пограничник!

– Верно, старшой, – согласно кивнув, сказал Конохов. – Только я о мелкой сделке с совестью. Она возможна, старшой. Одно твое слово, и должность начальника заставы...

– Товарищ капитан третьего ранга!

– Не будем, пехота-кавалерия, раньше времени на абордаж кидаться, – спокойно остановил мою вспышку Конохов и, погладив бороду, будто ничего не случилось продолжил: – А теперь так: спать до обеда. Врач в отпуске, каюта в твоём распоряжении.

Повернулся и вышел.

«Бестактный себялюб, – осудил его предостережение я. – Отрастил бороду, как у адмирала Нахимова, и думает, что имеет право учить! Не слишком ли большими полномочиями наделил себя?! А обращается как: пехота-кавалерия. Не пыли, дескать, сапогами, клеши улицу метут. Морчванство!»

А тут еще и корабль хуже верблюда. Так и холодеет все внутри, когда он носом с волны падает... На палубу бы сейчас. Подставить лицо ветру и холодным соленым брызгам, но я знал, что во время шторма на палубу без необходимости не выходят даже сами матросы. В каюте, однако, я оставаться не мог. Решил поэтому подняться на мостик.

«Если Конохов там, договорим о чести офицера».

Конохов был на мостике. Увидев меня, приветливо улыбнулся и спросил весело:

– Что, пехота-кавалерия, не спится? – и, не ожидая ответа, пригласил радушно: – Давай сюда, ко мне. Смотри, море какое! Люблю, когда оно бесится. А когда по сонному идешь, самому спать хочется.

Странный человек: смотрит в глаза открыто, весело, словно бы не произошло никакой размолвки. Рисуется? Не похоже.

Конохов продолжал:

– Ишь, как сердится. Ничего, ничего, скоро утихнет, – и пояснил: – Чайка на воду села, а это – точней барометра.

Я уже читал и даже успел услышать, что поморы точно определяют погоду по поведению чаек, кайр, гаг и других водоплавающих, поэтому не удивился сообщению Конохова, а стал смотреть на море, надеясь увидеть чаек на гребне бурливой волны.

Море походило на кипящий малахит. Зеленые волны с белыми, коричневыми и даже красными прожилками, ка-

залось, выворачивались наизнанку, стараясь большей хлестнуть корабль, а побитый, затянуть его в свой водоворот. Особенно потрясающей и в то же время жуткой была картина, когда острый нос «охотника» пропарывал очередную волну кипящего малахита.

И вдруг, хотя я искал взглядом чаек, увидел их неожиданно с левого борта. Десяток моевок, то подхлестнутые пенным гребешком волны, подпрыгивали серыми мячиками, то скатывались по крутому гребню в провал. Вот-вот захлестнет их следующая волна, но чайки спокойно дожидались, пока их поднимет на гребень, и тогда подпрыгивали, словно серые мячики.

Что привело их сюда, за несколько миль от берега? Какая сила держит на волне? Никакой рыбы они здесь не поймают. Не для того ли, чтобы дать нам знать, чтобы мы крепились в надежде, что ветер скоро утихнет и уляжется волна? Сколько еще непонятого и непознанного в таинственной природе? Пути ее поистине неисповедимы...

Мне расхотелось объясняться с Коноховым. Нелепым и мелочным выглядел бы такой разговор. Иные мысли были в голове, иные слова готовы сорваться с языка: так же упорно следует делать свое дело, невзирая на житейские волны, пусть даже вот такие кипящие, пенные. Но и этого я не сказал Конохову. Молча любовался чайками и морем.

К обеду, когда серость зимнего дня сгустилась до ваксовой черноты, ветер и в самом деле утих, но море не успоко-

илось. Где-то там, за Нордкапом, продолжал, похоже, бушевать шторм, и тягучая зыбь продолжала горбить потемневшее море. Корабль ритмично, словно маятник, то поднимался вверх, то скатывался с гребня в преисподнюю, и эта медленная однообразная качка утомляла и раздражала. Правы моряки: рябь переносить труднее, чем крутую волну. Меня начало поташнивать, и я едва справлялся с сонливостью. Я уже пожалел, что согласился сыграть с Коноховым после обеда партию-две в шахматы. Подумал даже незаметно сделать ошибочный ход, чтобы поскорее закончить партию.

А Конохов словно не замечал моего гнусного состояния, задиристо подхваливал:

– Молодцом, пехота-кавалерия! Даже иному моряку зыбь не по нутру, а ты – героем держишься!

В глазах же лукавинка. Знай поглаживает свою черную с серебристыми прожилками седины бороду. Всякая охота «зевнуть» отпадает. Позиция у меня все лучше и лучше. Еще два-три хода, и ничем не отразить атаку на королевском фланге. Офицеры корабля, ссылаясь на срочные дела, покидают кают-компанию, чтобы не быть свидетелем поражения комадира. Деликатный народ.

Одни, однако, мы были недолго. Вскоре вернулся старпом капитан-лейтенант Царевский, красавчик-щеголь с аккуратными усиками. Доложил Конохову:

– Товарищ командир, акустики цель засекли. Прямо по курсу.

– В дрейф, – приказал Конохов. – Подождем.

Сделав очередной ход, проговорил весело:

– Вот теперь, пехота-кавалерия, держись!

Удержишься тут, когда не только ухает корабль с крутого наката вниз, но и кренится то на правый, то на левый борт. Через два хода я уже «зевнул» королеву и сдался.

– Играчишка! – самодовольно оценил мои шахматные способности Конохов и, разглаживая поочередно правую и левую ветви бороды, принялся расставлять фигуры для новой партии, но я отказался и вышел на палубу.

«Ишь, как разыграли. По сценарию. А то командир, не дай бог, проиграет. И потом, что это за кавалерия такая, которая не травит».

Промерз я основательно, но уйти с палубы не решался, чувствуя, что стоит попасть в сухое тепло каюты, и эта противная качка доконает меня, вывернет наизнанку. Я не знал, что мне делать, и все сильнее злился на Конохова, на всех моряков, которые, как я думал в тот момент, ради своего престижа могут не посчитаться ни с чем. Мною овладело отчаяние от одиночества на многолюдном корабле, от непроглядной темноты, от качки, которая не прекращалась ни на минуту – мне хотелось крикнуть, чтобы принесли хотя бы шинель, но я сдерживался, продолжая дрожать от холода.

Вдруг зажглись ходовые огни, корабль вздрогнул, затем как будто напружинился, пропорол крутую зыбь и начал набирать скорость. Я вздохнул с облегчением, повернулся к

двери, но она отворилась, и вестовой, элегантно козырнув, доложил приветливо:

– Командир приглашает в кают-компанию к чаю.

«Идите вы со своим командиром!» – едва не вырвалось у меня, но я вовремя спохватился: зачем срывать обиду на матросе, который выполняет приказ со всем старанием. А вот Конохову нужно будет сказать, что я о нем думал все то время, пока стоял у леера, сбить с него морскую спесь. Но я не хотел сейчас даже слышать задорный голос Конохова, видеть его ухоженную бороду, полные розовые руки – я решил пойти в отведенную мне каюту и лечь спать. Я уже шагнул в полумрак узкого коридора, и тут, совершенно произвольно, будто что-то во мне вскипело.

«О чем думаю?! О чем! А что на заставе случилось непорядочное, совсем забыл!»

Я достал платочек, вытер покрывшийся испариной лоб и направился в кают-компанию.

Глава вторая

Корабль трепало. Иногда он гулко вздрагивал, словно ударялся бортом о что-то твердое. Я смотрел в черный провал иллюминатора, пытаюсь понять, где мы находимся. Я считал, судя по льдинам, с которыми соприкасался сторожевик, мы подходим к островам; увы, я тогда не знал, как далеко выносит из горла Белого моря льдины – познания мои об особенностях Студеных морей пока были вполне скромными.

Вставать не хотелось. Не пытался я даже зажечь свет, чтобы посмотреть на часы. Было такое состояние утомленности, какого я прежде никогда не испытывал, даже после многодневных поисков нарушителей границы... Виной всему, по моему определению, была качка и жаркий сухой воздух каюты.

«А моряки так – всю жизнь. Это тебе – не в седле. Станешь уважать морскую профессию».

Двигатели резко сбросили обороты, и стало хорошо слышно, как хлещет встречная волна о борта. Кто-то пробежал по коридору а вскоре я почувствовал, что корабль встал.

«Что? Приехали?»

Щелкнув выключателем, я глянул на часы: десять утра. Не умываясь, быстро оделся и поспешил на мостик. Конохов встретил меня упреком:

– Бегом-то зачем, пехота-кавалерия? До марковкина заго-

венья нам тут на якоре болтаться. Лежал бы себе. На берегу еще набегаешься.

Впереди, справа и слева от нас колыхались, как большие светлячки, якорные огни невидимых в темноте судов. Их было много, этих огней, а над ними через равные промежутки проплывала огненная полоса и, казалось, приглаживала нависшую над судами темноту: маяк на острове Маячном, перед которым сторожевик бросил якорь, крутил призывными лучами, манил суда, попавшие в шторм, укрыться в салме за высокими скалистыми островами.

Северо-восточный ветер, или как его здесь называли – моряна, гнал волны и льдины из Ледовитого океана в сторону берега, и хотя остров Маячный и другие острова, цепью протянувшиеся в трех милях от берега, принимали первый удар взбешенной стихии, берегу тоже доставалось полной мерой. Ни в одной из бухт сейчас не высадиться. Только в реку, и то с большим риском, можно было проскочить на лодке или на катере по волне. Придется ждать. Ничего не поделаешь. Север приучает ждать. Если не хочешь погибнуть – жди. Жди и смотри на желтенькие огоньки становища и заставы. И на тот одинокий, у самого причала. Не спит жена. Тоже ждет.

Мрак постепенно таял, уже становились видны голые коричневые утесы острова, деревянная лестница, похожая очень на длинный ребристый валеk, которым в старину гладили домотканые рубахи и сарафаны, и снежный намет справа и слева от лестницы; а вскоре можно было даже разли-

читать какие суда укрылись за островами от шторма – происходило похожее на чудо превращение: угрюмые темные силуэты обретали реальные формы, становились либо элегантными красавцами, либо обшарпанными работягами-рыбаками. Одних свет облагораживал, других – обезображивал.

Среди всего этого разнообразия сбившихся под защиту островов судов я увидел знакомый МРТ, наш колхозный «Альбатрос». Ничем он не отличался от других работяг моря, такой же облезлый, как почти все тральщики этого типа, но я безошибочно узнал его. Узнал и удивился: прежде даже не думал, что привыкаю к своему становищу. Мне прежде не единожды говорили, что как только станешь отличать свои лодки и доры от других по силуэтам, считай – помор настоящий.

«Не слишком, оказывается, это трудно», – думал я, забыв, что малый траулер – не дора и тем более – не лодка. Но человеку свойственно тешить свое самолюбие.

Узнать-то я узнал, а корысть в том какая? Не пойдет ли он в становище? При моряне входил он прежде, видел я, в реку на полной воде. Потом обсыхал, отлеживался на песчаном дне реки, привалившись облезлым бортом к оголившимся столбам причала, похожим на раздутые водянойкой безжизненные ноги – ждал, когда вновь начнется прилив.

– С «Альбатросом» можно связаться? – спросил я Конохова. – Может, на него переберусь?

– Дело, пехота-кавалерия, – весело одобрил мое предло-

жение Конохов и приказал вызвать на радиосвязь МРТ, даже сам пошел в радиорубку.

Минут через пятнадцать вернулся и сообщал:

– На полной воде пойдет в реку. Тебя высадит да гроб с солдатом мне на борт переправит. Как моряна задула, он, оказывается, на прибылой воде вышел. Тебя встречать. Сколько тут болтается! Вот так, пехота-кавалерия.

Гордость звучала в его словах, а бороду он поглаживал с явным удовольствием. И я понимал Конохова, понимал его гордость за тех моряков, которые проболтались в море несколько недель, зашли в становище всего, быть может, на сутки-двое, либо от воды до воды повидаться с семьями, вольно приложиться, не боясь строгого капитана, к четвертухе, погулять вволю перед уходом в море; а вместо этого вышли в штормовую салму, болтались здесь на якоре, чтобы пособить пограничникам. А чуть утихнет шторм, вновь подадутся в море на недели, потому что нужно давать план – это было очень благородно, возвышало моряков. Но скажи о их благородстве команде «Альбатроса» – обидятся несказанно. А капитан, Никита Савельевич Мызников, кряжистый угловатый помор, с сединой в редкой бороде, прочтет, как молитву, строчки стародавнего поморского устава: «...иногда может случиться по самому тому от других еще больше требовать помощи, ибо ходящему по морю без страха и взаимной помощи пробыть не можно. Для того все в дружном спомоществовании быть должны, а если кто по оным пунк-

там исполнять не будет, надеясь на свое нахальство или хозайское могутство, да воздаст праведный бог морским наказанием».

Уходили века в небытие, пала вольница Новгорода, менялись самовластцы, русского моряка заставляли жить по новому уставу: мешанине, взятой взаймы у голландцев, англичан, шведов и норвежцев; но поморы, вопреки всему, продолжали жить по совести предков, передавая свой Устав от кормщика отца кормщику сыну. И поныне властен вековой Устав поморов. И знают – не простит товарищ тому, кто откажет в помощи человеку невольному, попавшему, значит, в беду. Этим конечно же можно и нужно гордиться.

Часа через два «Альбатрос», увесив правый борт старенькими обвислыми крышками со звонким морским именем – кранцы, осторожно приблизился к борту пограничного сторожевика. На палубе стояло несколько рыбаков, готовых поймать меня. Не забыли, видимо, как нерасчетливо прыгнул я на их палубу первый раз с рейсового парохода – чуть не отбил ноги и едва не вылетел за борт. Теперь-то я знал, что прыгать нужно в тот момент, когда палуба еще поднимается, но уже вот-вот остановится, чтобы стремительно затем полететь вниз. Вместе с волной. Тогда на палубу опустишься мягко, почти без толчка. И чемодан не нужно хватать с собой. Его во второй заход примут. Но откуда ведомо рыбакам, что я уже начинаю привыкать к штормам, и на этот раз лишних хлопот не создам. Они все думают, будто я несмыш-

ленный большеземельный человек. Кричат громко:

– Чемодан, Лексеич, не тревожь!

– Не стану. Подходите.

Едва коснулся «Альбатрос» борта и взметнулся на волне (вот она – палуба), я прыгнул как с коня на вольтижировке и коснулся палубы в тот самый момент, когда она пошла вниз. Даже не почувствовал толчка. Рыбаки лишь на всякий случай поддержали меня.

Траулер отпрыгнул от сторожевика, борт которого вдруг стал невероятно высок – всего несколько минут назад казалось, что здесь, за островом, волна не так высока, но вот теперь виделось совсем иное: взлетали и опускались суда на несколько метров, и не рассчитай капитан «Альбатроса» самую малость, не помогли бы кранцы-покрышки, заскрежестало бы железо, погнулись бы борта, на палубе бы не устоять от такого удара.

«Альбатрос» же заново подкрадывался к кораблю Конохова, с борта которого уже свисал на короткой веревке мой чемодан и небольшой сверток, упакованный в целлофан. Миг опасности – и вот уже рыбаки подхватили брошенные чемодан и сверток, «Альбатрос» отпрыгнул, Конохов крикнул в мегафон:

– Никита, отцу поклон! И гостинец. Табачок, – потом мне:
– Будь здоров, пехота-кавалерия!

Я помахал ему рукой, пообещав вполголоса: «Постараюсь», – словно он мог меня услышать. Я был немного удив-

лен тем, что Конохов назвал капитана МРТ по-дружески Никита и тем, что послал деду Савелию подарок.

«Старые знакомые, видно».

Поднявшись на мостик к капитану и поздоровавшись с ним, спросил:

– Кто, Никита Савельевич, погиб?

– Сын мороженника.

Миша Силаев. Пухлощекий, мягенький, как неоперившийся гагунок. Старательный. Услужливый. На турнике больше двух раз подтянуться не мог, хотя пыхтел-старался. Солдаты шутили: «Мешок с мухами, шевелится, а не летит». Капитан Полосухин говорил, бывало, в сердцах:

– Пончиками бы ему торговать!

А ходил Силаев ничего, на усталость не жаловался. Только посапывал. Только один раз, когда мы морозной осенней ночью прошагали с ним по берегу километров десять, он стеснительно показал мне варезки:

– Во, пощупайте.

Их можно было выжимать. Тогда я пошутил:

– Граница, брат, – не мороженое-эскимо, шоколадом облитое.

Подшучивали над ним все, но больше всего он сам над собой. И все хотел «коня» осилить. Не на животе перескочить через него, а как все – ласточкой перелететь. Никогда, бывало, мимо «коня» не пройдет, обязательно два-три раза прыгнет. На лице отреченная решимость, бежит, что есть си-

лы, словно многое в жизни зависит от того, одолеет он или не одолеет снаряд.

– Обезножили они, слышь, с капитаном, – продолжал Никита Савельевич. – И метку даже не смогли поставить. Со всем, должно, без сил. Искали, сказывают, всем становищем, да вон как вышло... Начальнику-то, Алексеич, тяжело. Сам-то – живой, вот и казнится. Да и в становище, слышь, что толкуют: метку поставил бы, лыжину бы воткнул. Метка – это самое что ни на есть первое дело. Винят его за это.

Одно другого не легче. Застава и становище – одна семья. Так уж на Кольском повелось. Начальник заставы все одно, что уважаемый в семье человек. Конечно, председатель Становищного совета, председатель колхоза – авторитетная власть, но слово начальника заставы имеет не меньший вес. Но фальши в человеке поморы не терпят, обмана не прощают, а слабосилье осуждают. Вот и могут отвернуться от Полосухина. Вроде бы беда не велика. В гости не станут звать, сами тропку на заставу забудут, чтоб, значит, поплакаться в жилетку, в конфликте помочь разобраться, ну и ладно, хлопот меньше. Но есть обратная сторона медали – в охране границы тоже станут хуже помогать. Что из того, что граница – не рубеж вотчины Полосухина? Мало кто об этом в становище подумает.

А на самой заставе, если авторитет командира пошатнулся, тогда что? Не ответишь на этот вопрос. Не приходилось мне такое встречать и о таком слышать.

Размышляя обо всем этом, с тревогой смотрел я на приближавшийся берег. В серости зимнего дня было видно не более чем на полкилометра. Справа – Лись-остров и Стамухова губа. Вот они какие – стамухи: ледяные столбы, гладкие и толстые, похожие на огромные чаечные яйца, опущенные тупым концом в воду. Не оторвал бы глаз от этой необычной картины, но время еще будет рассмотреть Стамухову губу в зимний период, сейчас же не до нее. Что на заставе? Вон она. Стоит одиноко на песчаном берегу, со всех сторон обдуваемая ветрами. Ни одной живой души. Только редкие торосы белеют на угоре. Стало быть, все пограничники уже на причале. Ждут.

Прямо по курсу – устье Падуна. Левый берег пологий, песчаный, правый же скалистый, с полосками белого снега в расщелках. Высокий, метров двадцать, бык выдвинул свою грудь вперед в море.

Утес этот называют Глупышом. Может, оттого, что на левой части его гнездятся чайки-глупыши. Сейчас об этот утес гулко бьются волны, дошвыривая брызги почти до самого креста, который чернеет наверху.

Чуть в стороне от креста, так, чтобы ее хорошо было видно с моря, стоит неподвижно старуха, не обращая внимания на ветер и брызги. В черной шали. В черном полушубке и в черных валенках. Стоит и смотрит вдаль. Ждет сына, давно погибшего в штормовой ночи. В становище ее зовут матерью. Мужчины, встречаясь с ней, снимают шапки, женщины

кланяются, а пограничники отдают честь. И все знают: возле какой губы стоит одетая в траур мать – туда можно смело входить на лодке и на доре. Вот и сейчас, раз она стоит на Глупыше, можно идти в реку. Правда, не как по автострате на лимузине, но все же без риска для жизни. Впрочем, без риска ли?

Неумолимо приближается высокая, отполированная волнами до блеска коричневая гранитная стена; ухают, ударяясь об утес, волны, веером выметываются ввысь и падают, чтобы уступить место новой волне – хлесткой, тягучей. Швырнет она МРТ на эту гранитную стену, вряд ли можно будет собрать даже щепки.

Теперь скала слева, в нескольких метрах от борта. Ответи дальше «Альбатрос» нельзя, справа – отмель. У руля сам капитан. Сосредоточен. Будто врос в палубу мостика и слился со штурвалом.

Волна подняла траулер, потащила на утес, но не донесла, отхлынула; вторая вздыбила судно – вот-вот, кажется, ударится борт о гладкий камень и нужно круто взять вправо, чтобы избежать несчастья; но не дрогнул кормщик, даже глаза не скосил в сторону утеса, сосредоточенно смотрит вперед, и лишь едва заметно повернул штурвал влево. Следующая волна была уже не страшна: на ее гребне траулер вошел в реку. Я с облегчением вздохнул, увидав впереди Чертов мост, перекинутый через реку сразу же за причалом.

Причал теперь приближался быстро. На самом краю его

стоял обитый красным сатином гроб, и выглядел он необычно нарядно на этих темных от грязи, тюленьего жира и рыбной чешуи досках. Даже широкая полоса черного шелка, которая шла по краю крышки гроба, придавала ему нарядно-торжественный вид. Тяжело я перевел взгляд на толпу, подковно жавшеюся к гробу.

Не думал я тогда, что много раз потом, даже через годы, буду возвращаться памятью к этим минутам и видеть тот оббитый красным сатином гроб; и всякий раз буду еще и еще пытаться понять, отчего люди так заботливо, так пышно хоронят своих близких, отдавая им все лучшее, что могут. Не оттого ли, что всегда чувствуют вину перед умершими и пытаются откупиться у своей совести; а, может, думают о себе, о своей смерти, и легче становится ожидать ее, зная, что не бросят тебя в яму, как бездомного пса — слишком нелепые предположения делал я всякий раз, когда вспоминал вот этот нарядный гроб на грязном причале, пограничников в шинелях и фуражках, несмотря на холодный ветер; женщин в черных шалях и платках, плюшевых полупальто, только что вынутых из сундуков, оттого мятых; мужчин в непривычно топорщившихся пальто с каракулевыми воротниками, которые тоже вынимались из сундуков на Пасху, на Май, на День Победы, на Октябрьскую... Но все это было потом, а сейчас я с удивлением смотрел на жену начальника заставы Олю, которая стояла вроде бы вместе со всеми, но казалась одинокой. И грусть у нее иная, чем у всех, и одета, словно собралась в

дорогу, в большой мир: меховая шапочка, пальто, сапожки на молнии. Именно та одежда, в которой приехала на заставу Ольга и которую, сколько я помню, она ни разу не надевала. Во всяком случае, до моего отъезда на учебный. Даже в клуб становища на танцы одевалась проще и потеплей. На голове всегда была либо шаль, либо теплый платок.

«Уезжает, что ли? Не может быть...»

Но у ног молодой женщины стоял коричневый, под крокодилью кожу, большой чемодан.

«Что произошло?» – думал я, а сам уже искал взглядом среди провожавших гроб свою жену. Не найдя ее, взглянул вверх, на дом, и увидел ее в пухлой шали, в моем полушубке, длинном, широком в плечах, но туго облежавшим круглый живот. Она осторожно, придерживаясь за перила и внимательно глядя под ноги спускалась по деревянной лестнице на причал. Ей вроде бы не было никакого дела до того, что происходило сейчас вокруг, все внимание ее было сосредоточено на одном: не поскользнуться, не упасть. Она оберегала своего ребенка. Нашего ребенка.

«Альбатрос» мягко коснулся покрышками-кранцами о причал, напряженно прижался к доскам, выжидая, пока причальные концы с носа и кормы накинута на столбы-кнехты, потом будто вздохнул облегченно, сбавив обороты, а когда натянулись пеньковые тросы, как струны, капитан громко крикнул: «Грузи поскорей!» – и сразу же солдаты подняли гроб, осторожно пошагав по узкому ребристому трапу. В

небо, пропарывая тугой ветер, взлетели ракеты. Только зеленые.

– Прощайся, Лексеич, с горемычным, – поторопил меня капитан. – Мыслим обернуться по воде.

Они имели право спешить. Не болтаться же им еще полсуток на якоре.

Вскоре МРТ уже круто разворачивался, а мы все стояли и молча смотрели на красный гроб, крепко притороченный к лебедке, на жену начальника заставы, которая с суровой отрешенностью на лице не отрывала взгляда от оплетенного веревкой гроба, крепко держась за лебедку.

Вот судно развернулось, начало набирать ход, и в это время низко над ним пролетела зеленая ракета и нырнула впереди по курсу в пенный валок.

– Пухом ему земля, – всхлипнула стоявшая рядом со мной старуха и перекрестилась.

Капитан Полосухин надел фуражку, спустив подбородный ремешок, дабы не сорвало фуражку ветром, и приказал старшине:

– Стройте заставу. Действуйте по распорядку.

Круто повернулся и направился, тяжело ступая, к лестнице. Но моя жена остановила его:

– Северин Лукьянович, пойдемте к нам.

Сказала вроде бы тихо, но с такой настойчивостью в голосе, что капитан остановился и согласно кивнул. Пропустив вперед, стал поддерживать ее под локоть, чтобы она не по-

скользнулась, хотя было видно, что сам он поднимается с большим трудом.

Я тоже пошагал вслед за ними, и в это время услышал насмешливый голос ефрейтора Гранского:

– Капитан наш как ни в чем не бывало.

– Перестань ты! – одернул Гранского Нагайцев. – Без тебя тошно.

Не мог не слышать Гранского капитан Полосухин, но продолжал подниматься вверх, поддерживая под локоть мою жену. Он даже не оглянулся. Выдержка? Умение владеть собой? Это в его натуре.

Через несколько минут мы сидели в просторной комнате. Она так у нас и называлась – «зал ожидания». Недели за две до моего отъезда на учебный мы вселились сюда, в портопункт, – большой финский дом, разделенный на две половины. В одной, меньшей, из двух комнат, жил дежурный диспетчер пароходства, он же кассир; в большей – зал ожидания, касса и еще одна небольшая комнатка, всегда пустовавшая. Эту, большую половину, пароходство временно, пока построят новую заставу, предало в аренду пограничникам. Квартира эта после маленькой, с подслеповатым окном комнатухи показалась нам раем. Пустовавшую комнатку мы приспособили под кухню, в кассе поставили кровать, тумбочку и наименовали ее спальней. Хотели было перестроить черную голландку в зале ожидания, но пароходство, в лице диспетчера портопункта, засомневалось в целе-

сообразности какого-либо изменения интерьера в зале. Тогда поставили мы в нем обеденный стол, четыре скрипучих «венских» стула, облезлую этажерку, за ненадобностью подаренную нам на новоселье диспетчером, набили ее книгами до отказа, а рядом установили на деревянных чурках, чтобы проветривалось дно, сундук с остальными книгами, накрыли его красным с синими огромными цветами китайским покрывалом, а поверх его поставили наше второе главное богатство – «Хозяйку Медной горы» и Серого волка с Иванушкой и Василисой Прекрасной на спине. И хотя на цветастом покрывале творения кунгурских мастеров немного тускнели, но нам все же нравился этот уголок.

Особенно уютным показался он мне сейчас, после двухмесячного отсутствия. Я погладил работягу-волка, подойдя к этажерке, взял Ломоносова, открыл том на одной из заложек: «...Сверх надлежащего числа матросов и солдат взять на каждое судно около десяти человек лучших торосовщиков из города Архангельска, с Мизени и из других мест поморских, которые для ловли тюленей на торос ходят, а особенно которые бывали в зимовьях и в заносах и привыкли терпеть стужу и нужду», – захлопнул книгу и поставил на место. Но оттого, что прочитал я для своего успокоения совет Ломоносова посылать на Север привыкших к нему людей, мне легче не стало. Действительно, Север заморозил сотни, тысячи людей, пытавшихся познать и приручить его, но то – история. А Миша Силаев – день сегодняшний. Жестокая

реальность.

– Я его все с собой, да с собой, – неожиданно громко заговорил Полосухин. – Втянуть хотелось. Да он и сам этого желал.

С недоумением глянул я на Полосухина. Читает мысли? Подождал, что скажет еще. Но он молча сел за стол, налил рюмку и, даже не предложив мне выпить с ним, опрокинул ее в рот, словно заправский пьяница.

– Почему Оля уехала? – спросил я, садясь напротив него. Полосухин налил и мне рюмку. Ответил жестким вопросом:

– А если человек не верит тебе, как с ним жить? А?! – Подавив вздох, добавил: – Гранский не верит. Ты можешь не поверить – я ничего изменить не смогу. Не ради друг друга служим. Но жена?!

Долго сидел, положив голову на руки, потом будто спохватился:

– Вот что, Евгений Алексеевич, ты не спеши с вопросами. Не гони вскачь. Сложилось все так, враз не поймешь. Я и сам-то пока ничего не знаю. Меня могут судить. Комиссия приедет обязательно. И тебе придется сказать свое мнение. «Оно, – подумалось мне, – будет на весах тяжелой гирькой».

На какую только сторону придется ту гирьку поставить? Пока для меня ясно только одно: мнение должно быть честным и максимально истинным. А вот где она – эта истина?

Никто, кроме самого Полосухина, ее не знает. Только тундра – свидетельница случившейся драмы. Но тундра нема. Следы укрыла метель. И какова причина столь решительного разрыва с Ольгой? Пусть она усомнилась, так ты докажи ей свою честность. Докажи! Ты же – мужчина! Изобразить горькую обиду куда как проще.

Возможно, причина иная? Надя. Надежда Антоновна Мызникова, учительница, внучка деда Савелия не главная ли виновница? Мне еще в день приезда показалось, что они любят друг друга. Надя особенно. Глаза ее, с поволокой, светились, звали, манили, когда она смотрела на Северина Лукьяновича. А когда их взгляды встречались, лицо Полосухина, строгое, серьезное, сразу преображалось, становилось добрым. Я всегда замечал, что каждая их встреча была радостью. Как бы ни спешил, бывало, Полосухин, но если Надю видел, обязательно шел ей навстречу. Частенько, бывало, после боевого расчета говорил мне:

– Проводи, Евгений Алексеевич, партмассовую, я в становище прогуляюсь. В сельсовет, да и к деду Савелию.

И мне было понятно, что вечер он проведет с Надей. А та, если Полосухин приходил в гости, никуда не уходила из дома. Даже на танцы не шла. Так было до его отпуска. В октябре он уехал домой и вернулся неожиданно для всех с женой. С Олей.

Пойди-ка, разберись во всем этом... Да и есть ли у меня моральное право разбираться в его сугубо личной жизни?

Вот в чем еще вопрос...

Глава третья

Начальник заставы

Солнце словно приостановилось, чтобы собраться с духом, прежде чем нырнуть в колючую сосновую чащобу, нахлобученную, как косматая шапка, на высокий пригорок; а, может, раздумывало, не взять ли чуток в сторону, туда, где искрятся радостью длинноволосые березы, где просторные поляны манят мягкостью цветастых ковров – устраивайся там поудобней и закрывай свои пылающие глаза до самого до утра; или намеревалось оно вернуться назад и нырнуть в тихую желтоватую воду Пахры, охладиться, а уж потом умотиться под ивой у обрыва на ночлег; но земля продолжала вращаться с вековой точностью, и солнцу не оставалось выбора – пропоротое вершинами сосен, разлезлось оно на кривые куски, которые начали наливать холодной ядовитой краснотой и поспешно зарываться в чащобу. Суровой и строже стало все вокруг, речка потемнела, будто набросила на свое лицо чадру. Неожиданно громко всплеснула рыба, пропищал комар, и снова все замерло в благодатном покое, только издали, от плотины, доносился смягченный расстоянием шум падающей воды, и шум тот тоже казался умиро-

творенным, дремлющим.

Северин Полосухин не заметил, как тоже поддался всеобщему покою, словно слился с природой воедино, сидел расслабленно, ни о чем не думая, не замечая даже того, как вздрогнул поплавок, пустив по темной, с легким гляncем воде мягкие колечки, и заскользил тихонечко к берегу. Встрепенулся Северин только тогда, когда поплавок резко нырнул, леска натянулась, пригибая к воде удилище, – Северин дернул удочку и почувствовал упругое сопротивление.

«Ого! Крупная!»

Звонко выхлестнул из воды окунь, описал дугу и, сорвавшись в воздухе с крючка, плюхнулся в высокую траву под самым откосом. Северин не спеша положил удочку и только тогда повернулся к яростно хлеставшей хвостом траву рыбе, но взять ее и надеть на кукан не успел: над тихой рекой тоскливо и жалобно пронеслось:

– Ма-а-а-ма-а!

И почти без паузы испуганный жалобный крик повторился. Северин сразу же узнал голос Оли, соседней девчонки, тоненькой и гибкой непоседы.

– Мама-а-а! – неслоь над рекой

Северин побежал что было духу по узенькой скользкой тропке, пробитой рыбаками у самого берега, а пронзительный крик подхлестывал его. Прощмыгнув под мягкими, словно девичьи косы, ветками ивы, Северин выскочил на мысок, увидел торчавшую у самого шлюза над водой голо-

венку, руки, вцепившиеся в ворот шлюза, и определив: «Ноги под шлюз затянуло» – бросился в реку, разлившуюся перед плотинкой широким озером. Плыл размашисто, не чувствуя тяжести намокшей одежды. Метрах в двадцати от плотины его захватило течение, плыть стало легче, он подумал с удовлетворением: «Сейчас вытащу, – но тут вспыхнула вдруг отрезвляющая мысль: – И мои ноги затянет под шлюз. С плотины нужно!»

Он резко развернулся и, преодолевая течение, поплыл обратно.

– Ма-а-ма-а! – еще испуганней пронеслось над водой.

Северин греб со злостью и с не меньшей злостью обзывал себя дубиной стоеросовой. Он, имевший среди сверстников рабочего поселка репутацию расчетливого парня, так опрометчиво бросился в воду. Ему бы вскарабкаться по крутизне на верх и добежать до плотины по дороге. Намного быстрее. И тащить из воды легче. Подал руку – и тяни. Оля же легкая, как пушинка. Сейчас не переворачивало бы душу тоскливое:

– Мама-а-а!

Подплыв к берегу, Северин ухватился за жесткую осоку и полез вверх, а в это время из поселка, где тоже слышали крик девочки, к плотине подбежали мужики. Они вытащили девочку, а Северина встретили насмешливым вопросом:

– К шапочному разбору? Не в отца ты, парень. Нет, не в отца...

Он не вдруг понял, в чем его обвиняют. Каждым сво-

им поступком он пытался подражать отцу, вернее, созданному для себя идеалу (Северину было всего годик, когда отец ушел на фронт), старался быть таким же, как отец, добрым мужчиной, верным слову, обдуманно шагающим по жизни. Часто Северин перечитывал и похоронку, и небольшую заметку в дивизионной газете:

«Смерть нависла над взводом. Еще несколько минут, и фашисты окружат героических защитников высоты. Командир взвода приказал всем отходить, а сам остался за пулеметом. Боец Полосухин не выполнил приказа. Он остался вместе с командиром. На вторичный приказ взводного ответил: – Кто же вам, товарищ командир, ленту подаст?

Отважный боец сознательно пошел на смерть. Ради жизни своих боевых товарищей...»

Полосухину-младшему казалось, что повторись такое, он тоже ляжет рядом с пулеметом. Не дрогнет. Вот и сейчас бросился он в воду. Не подумал, верно. Отец, это уж точно, так бы не поступил...

И вдруг будто ледышка ткнулась в сердце и примостилась там: Северин понял, что его упрекают в трусости. Не доплыл до плотины, испугался.

– Я как лучше хотел, – принялся было объяснять он. – Как же я спас бы, если и мои ноги затянуло бы. Плыву, а сам думаю...

– Вот-вот. И мы об этом же.

– По дороге быстрее... – еще надеясь убедить мужиков,

объяснил свой поступок Северин, но в ответ услышал:

– Хитер, – усмехаясь в свои буденовские усы, облил уша-
том ледяной воды Ольгин отец. – Хитер. Утопла бы девочка,
пока ты хлюпался взад-вперед. Скажи уж, пожалел себя, как
бы ноженьки об шлюз не стукнуло, – потом, махнув рукой,
позвал всех: – Пошли, мужики.

Северин остался стоять у плотины. С прилипших к телу
мокрых брюк и рубашки звонко капали светлые капли и рас-
текались вокруг ног, вороня асфальт.

«Не трус я! Не трус! – отчаянно кричал Северин, но крик
его слышал он только сам: губы его были плотно сжаты, с
ненавистью смотрел он в спину Олиного отца, уносившего
домой свою дочь. Парню хотелось догнать соседа, объяснить
ему еще раз все подробно, но он сдержал себя.

«Ничего! Ничего! Я – докажу! Докажу!»

Он пока не знал, как сможет это сделать, стоял и дрожал.
В поселок не пошел. Ждал, пока совсем стемнеет.

Рабочий поселок на излучине Пахры – небольшой. Но-
вость, выходявшая за рамки привычного быта (работа на
трикотажной фабрике, вечера за лото или подкидным), про-
катилась, как снежный ком, и когда Северин вернулся до-
мой, мать уже знала все. Он понял это сразу. Уж слишком
восторженно воскликнула она, увидев на кукане рыбу.

– Гляди ты, какую выловил!

Северин усмехнулся. Прежде, бывало, с настоящим уло-
вом возвращался, и никого это не удивляло.

Мать смутилась, почувствовав, что переиграла, и тут же неожиданно для самой себя спросила:

– Где ты промок так?

Северин не ответил. Подав матери окуня, ушел в свою комнату и плотно закрыл за собой дверь.

Встал он, как обычно, рано, чтобы до школы полить цветы в палисаднике и натаскать в бочку воды. Выглядел свежим, словно не было позади бессонной ночи, тягучих дум о людской несправедливости, десятка почти окончательно обдуманных планов и вновь отброшенных и, наконец, последнего решения, пришедшего на рассвете, которое сняло и стыдливую растерянность, и упрямую отрешенность. Он делал по дому все, словно вчера ничего не произошло, а когда увидел мать, вдруг постаревшую, с непривычно дряблыми мешочками под глазами, подумал с жалостью: «Не спала тоже», – подошел к ней, прижал ее к груди и спросил:

– Неужели ты веришь?

– Не во мне дело. Люди. На чужой роток не накинешь платок.

– Накинем, мама. Кляп вставим. Я в училище пойду. В пограничное.

– Ох ты, господи! – воскликнула она, всплеснув руками, и, всхлипнув, промокнула фартуком глаза. – Хотел же отцовским путем идти. Я и с директором уже говорила. Обещал определить к самому лучшему слесарю. Говорит: сыну героя всякий поможет на ноги встать. Сам, говорит, не оплошал

бы. А теперь как же? Что я директору скажу?

– Так и скажи: по отцовской дороге пошел. Туда, где трусам нет места.

В тот же день, сразу после уроков, поехал он на электричке в Москву, а там, пересев на другую, – в Бабушкино, где находилось пограничное училище. Узнал условие приема и стал готовиться к экзаменам.

Конкурс выдержал успешно, и был зачислен курсантом. Не в тягость была ему утренняя физзарядка, частые кроссы, полевые занятия слякотной осенью и морозной зимой, и уже к концу первого курса прочно закрепилось за Северином Полосухиным звание – первый. Первый лыжник, первый стрелок, первый самбист; на семинарах по философии и истории партии он часто выручал группу, вступая в полемику с преподавателем, удивляя своей эрудицией и способностью логично мыслить и умело отстаивать свою точку зрения. И никто из преподавателей не знал, что после вечерней проверки и прогулки он запирался в комнате чистки оружия, чтобы не обнаружили его офицеры и не наказали за нарушения распорядка дня (после отбоя всем, кроме дежурного и дневального, положено спать), и читал до часу ночи, после чего выходил на спортплощадку «побросать» перед сном двухпудовую гирику.

– Сколько отгрыз от гранита науки? – спрашивал Северина после подъема сосед по койке, рыхлый курсант, который даже на лекциях добродушно посапывал, а на замеча-

ние преподавателей отвечал неизменно: «У меня такой метод слушания», – и снова спокойно дремал.

Он никак не мог понять, почему Северин не устает, и ночами спит мало, и все лекции конспектирует, и в часы самоподготовки почти не встает из-за стола, не болтает в перерывах со всеми о пустяках, не перебивает косточки преподавателям или девушкам, которые приходят на танцы в училищный клуб, а если выходит покурить, то спешно выкуривает сигарету и возвращается в класс – не в состоянии был осмыслить всего этого добродушно-ленивый курсант, вот и подшучивал над Северином.

– Чует мое сердце, ходить тебе со вставной челюстью. Гранит науки покрошит твои зубы.

– А я гляжу, схлопочешь ты пару нарядов вне очереди за сон на физзарядке, – незлобиво отвечал Северин и спешил в строй.

Еще одно прозвище прилипло к Северину: двужильный. И постепенно сбился вокруг него кружок курсантов, стали они вместе учить, спорить, докапываясь до истины, и получать на семинарах пятерки.

К весне курсанта Полосухина назначили помкомвзводом, присвоили звание сержанта, вот тогда только исполнил он давнюю просьбу матери, взял увольнительную и поехал на несколько часов домой.

И надо же так получиться, что на лужайке, еще серой от недавно стаявшего снега, но уже начавшей зеленеть лихо и

самозабвенно прыгала через скакалку Оля. Она то плавно, как птица, перелетала через белый шпагат, то вдруг, озорно закинув голову, принималась скакать, словно расшалившийся козленок, то шла вприсядку, а шнур мелькал над головой все чаще и чаще. Северин даже остановился, удивленный. Оля же будто не замечала его, прыгала и прыгала. Не повернула головы и младшая сестренка Оли Катя. Насупленная стояла. Ухмыльнулся Северин, подумав: «Не хотят глянуть. Соплюхи, а туда же».

Он уже подошел к калитке, но Оля вдруг окликнула его: – Дядя Северин, посмотрите, как я могу, – и, перехлестывая скакалку восьмеркой, стала так стремительно нырять в ту восьмерку, что, казалось, она неудержимо несется вперед – столько ловкости и озорства было в движениях девочки, что Северин сразу же забыл о своей обиде, только что кольнувшей его душу, и с восхищением воскликнул:

– Ух ты! Здорово как! – Потом упрекнул ее: – Какой же я тебе дядя?

Она остановилась, игриво пожала плечиками, хотела что-то сказать, но в это время Северин увидел мать. Она семенила по тропинке между вишнями к калитке и, негромко всхлипывая, причитала:

– Господи! Вот радость-то... Вот привалило, Господи!

Она прильнула к груди сына и обмякла, успокоенная.

– Надолго? – подняв наконец голову, спросила она, внимательно всматриваясь в лицо и замечая, что оно стало иным,

не детским.

Не ожидая ответа, сказала с ноткой гордости:

– Совсем, как отец. – Потом спохватилась: – Пойдем, пойдем, сынок, в дом. Сметанки с сахаром поешь, пока ужин готовлю.

– Давно не ел такую вкуснятину, – весело ответил он. На душе у него было так легко, что захотелось попрыгать на этой родной тропинке между вишнями на одной ноге, как делал он это часто в детстве, но за крыльцом стояла Оля, и Северин зашагал размеренно, как мужчина, и с наслаждением вдыхал клейкий аромат лопающихся весенних почек.

В доме ничего не изменилось. Те же беленькие, в мережках, ситцевые занавески; та же скатерть, с мережкой по углам, на кургузом столе с толстыми точеными ножками, облезлыми, потрескавшимися; тот же уголок с пожелтевшей фронтовой фотокарточкой отца в неуклюжей лепной рамке, окрашенной под золото. Среди этих вещей прошло его сиротское детство и отрочество, они ему были до боли родными; но теперь он смотрел на них глазами человека, увидевшего и познавшего иной мир, теперь ему все здесь казалось убогим, и только теперь он вдруг понял, что все эти промерженные и вышитые ситцевые занавесочки, салфетки, уголки развешаны и расстелены только с одной целью – упрятать под белый ситец убогую бедность.

– Ничего, мама, – повернувшись к ней, обняв и поцеловав ее в дряблую щеку, решительно сказал Северин. – Дай

закончу. Поправим дела!

Мать с благодарностью смотрела на сына, утирая слезы краешком фартука; она хотела похвалить сына, сказать удовлетворенно, что не зря растила его, но в комнату вдруг впорхнула Оля и затараторила:

– Я не буду больше дядей называть! Вот честное-пречестное. Расскажите мне только про шпионов. Вы много шпионов поймали? Страшно, да?

– Подожди, не тарахти. Не ловил я еще шпионов. Потом буду.

– Жалко рассказывать, – сникла Оля. – Я обиделась тогда. И ушла.

Северин весело расхохотался. Обиделась... И какие шпионы, когда он еще не был на границе? Только через месяц предстояла стажировка.

Быть может, забыл бы Северин о том нелепом разговоре и вообще об Оле, но она была его «памятью» – и судьба, которая если не преследовала, то напоминала, колола самолюбие парня. И два года спустя, когда Северин приехал в очередной отпуск домой, он даже хотел, чтобы Оля попросила рассказать о шпионах. Она же встретила его непривычно робко, зарделась, поздоровавшись, отчего конопушки стали еще заметней, и создавалось такое впечатление, будто сыпанул ей в лицо кто-то целую пригоршню проса, а зернышки крепко-накрепко прилипли к щекам, ко лбу и особенно густо налепились на переносице.

«Вот тебе на? Такая бойкая была».

И тут Северин с удивлением заметил, что она сильно изменилась. Вместо той худенькой, угластой девчухи перед ним стояла пухленькая девушка. Ее озорное мальчишечье лицо стало нежным и добрым, вместо короткой стрижки – коса. Не длинная, но толстая. Не изменились только конопушки. Они так же густо коричневели просяными зернышками по всему лицу. Северину вдруг захотелось дотронуться рукой до этих конопушек, погладить румяные от смущения щеки, но как он мог это сделать? Он ждал, что сейчас Оля спросит, за какие заслуги наградили его медалью, но она, встретившись с его взглядом, еще больше зарделась и спросила смущенно:

– К нам зайдете?

И снова удивился Северин. После того разговора у шлюза с отцом Оли – дядей Семеном, он ни разу не заходил к соседям. Да его и не приглашали. Не знал Северин, что за время с прошлого отпуска здесь все изменилось, что добрососедские отношения восстановлены, и Оля почти каждый вечер приходила к ним помогала его матери по дому, а потом рассматривала фотографию, которую прислал он после того, как получил медаль «За отличие в охране границы СССР». Мама Северина понимала состояние девушки: медленно, исподволь подкралась к ней любовь, а захватила крепко. Мать как могла, питала эту любовь, но сыну ничего не писала. Размыслила так: придет, поймет сам. Ничего этого не знал

Северин и недоуменно смотрел на Олю, которая терпеливо ждала ответа. И он предложил:

– Пойдем лучше на Пахру. Я удочки возьму.

– Хорошо.

Солнце еще было высоко, а Оля уже зашла за Северином. На ней был сарафан из китайского шелка в крупных ярких цветах. Самый модный в те годы. Косу Оля расплела, и светлые волосы мягко облегли ее пухлые плечи и спускались на цветы, смягчая их кричащую броскость. Оля постаралась выглядеть красиво, и теперь с тревогой ждала, какое впечатление произведет на Северина. Но тот побежал в кладовую за удочками, спешно накопал червей на огороде и, даже не помыв перепачканные руки, позвал ее:

– Пойдем.

Лишь когда они выходили за калитку, и он, пропустив ее, оказался позади, увидел цветы на ее сарафанчике, искрившиеся в ярких солнечных лучах, выпалил восхищенно:

– Ух ты, горит!

Оля благодарно улыбнулась, обернувшись, и Северин увидел, как вспыхнули Олины щеки. Пока еще непонятно отчего, он и сам смутился.

Молча они прошли по пыльной дороге до плотины и, не сговариваясь, остановились у шлюзов, и так же молча стали смотреть, как, закручиваясь глубокой воронкой, вода с глухим гулом устремлялась под невысоко поднятый металлический щит. Они не думали о том, что отсюда началось их

сближение и что не будь того нелепого случая, не пришли бы они, возможно, сюда вот так, вместе.

Совсем с иными мыслями смотрели они на воронку, которая все время, будто живая, двигалась, то отдаляясь или приближаясь к шлюзу, либо расширялась и становилась глубже, то исчезала почти совсем – Оля ждала, чтобы Северин заговорил, и тогда она могла бы понять, чувствует ли он, видит ли ее любовь. Она ждала нежных взволнованных слов, Северин же вновь переживал то, что пережил когда-то здесь, оставшись один на один со своими тревожными мыслями, несправедливо обвиненный и униженный. И хотя время сгладило остроту обиды, он не мог совершенно забыть людскую несправедливость, а теперь та боль, та растерянность и озлобленность вновь охватили его, вроде бы только что бросил в лицо ему отец Оли грубо, с усмешкой: «...Скажи уж, пожалел себя, как бы ножки об шлюз не стукнуло... Не в отца ты, парень». Северин боялся, что вдруг Оля заговорит о том случае, и тогда он поймет, что она так и продолжает считать его трусом. Северин просто боялся ее слов и, легонько притронувшись к ее руке, сказал глухо:

– Пойдем. Клев прозеваем.

Иных слов ждала Ольга. Взглянула на Северина разочарованно, увидела его нахмуренное почти злое лицо и сникла. Погрустнела. Покорно пошла, как на привязи, за ним по дороге. А он, поглощенный своими мыслями, размеренно шагал и шагал, не обращая внимания на Олю.

Знакомая тропка, круто сбегавшая вниз между кустиками мягкого тальника и высокой жгучей крапивы. Северин не приостановился, не пропустил Олю вперед, он забыл о ней, хотя слышал ее шаги, чувствовал ее порывистое дыхание, но мысли его были в прошлом. Он еще и еще раз мысленно воспроизводил разговор, который произошел тогда у шлюза с мужиками и который так круто повернул его судьбу. У Северина сейчас не было обиды на дядю Семена, Олиного отца, он уже давно понял и оправдал его, сгоряча бросившего жесткий упрек; Северин с возмущением думал о человеческой несправедливости и человеческой жестокости. Люди сторонние могли бы осмыслить случившееся трезво, но не сделали этого, не стали утруждать себя. Да и интересней было посмаковать, посплетничать, прикрашивая, домысливая, картинно всплескивая руками, возмущаться будто искренне: «А ведь видный парень. Ишь ты, никому нынче веры нет. Не та пошла молодежь», – и на миг, на час почувствовать себя безгрешными, вовсе не думая, что совершается вопиющая несправедливость, которую ничем не оправдать.

Северин смотрел на Пахру, словно заснувшую в мягком травном ложе, на ивы, тонкие ветки которых шатрами нависали над водой, словно укрыли ее, оберегая ее покой, смотрел на лес, темневший по ту сторону реки, на веселые луга перед лесом – он смотрел на все это родное, привычное с детства, и не воспринимал всей той покойной красоты: не отступали от него хмурые мысли и даже тогда, когда Севе-

рин остановился на своем любимом месте и принялся разматывать удочки. Теперь Оля снова увидела его лицо, недоброе, отталкивающее, поняла причину и решила: подошла к нему, мягко положила на плечи руки и сказала, глядя в глаза: – Люблю тебя, Северин. Не знаю, как люблю...

Робко ткнулась губами в его губы и, отшатнувшись, отвернулась, чтобы скрыть слезы, которые вдруг покатались по ее пухлым щекам то ли от облегчения, что эти тяжелые слова наконец сказаны, то ли от обиды, что первый шаг сделала она, а не он, и еще не ясно, каким будет ответ.

Для Северина, который все еще оставался во власти дум о людской несправедливости, признание в любви и неумелый поцелуй были так неожиданны, что он просто опешил: Северин уже понял раньше, что Оля равнодушна к нему, да и сам он почувствовал при встрече с ней неизвестное прежде волнение и робость; но все это как будто проскользнуло, едва задев его сознание, – он не успел еще осмыслить причину волнения и робости, не подумал, что это начало любви. И надо же – она призналась первой... Северин просто не знал, что ответить. Стоял и смотрел на раскинувшиеся по плечам мягкие волосы, залитые солнцем, на искристые цветы нарядного сарафана, на стыдливо опущенную головку, вздрагивающие плечи, и ему вдруг стало жаль девушку – он притянул ее к себе и так же неумело, как и она, поцеловал.

Она разревелась, уткнувшись лицом в его грудь, потом подняла голову и посмотрела на Северина – в глазах, напол-

ненных слезами, было столько нежности и счастья, что Северин невольно поцеловал их.

Удочки так и остались лежать в траве. Северин и Оля забыли, что пришли порыбачить, сидели, прижавшись друг к другу, и молча любовались неторопливым вечерним закатом. И только когда зябко стало от вечерней прохлады и комары с тоскливым писком закружились вокруг и начали впиваться в Олины руки и ноги, ничем не прикрытые, они поднялись – Северин торопливо собрал удочки, подал Оле руку и полез вверх. Напрямик, без тропы.

До шлюзов они шли молча, а когда миновали плотину, Оля вдруг спросила:

– Он стрелял в тебя?

– Кто?

– Шпион.

– Не успел, Оля, – ответил Северин и, довольный тем, что может наконец рассказать ей о своем первом задержании, пояснил: – Понимаешь, я ему с напарником наперерез вышел. Граница вот она – рукой подать, всего полсотни метров. А мы-то затаились, вот он и посчитал, что, значит, опасность миновала. Шагнул вперед, а я ему не очень громко: «Руки вверх!».

Чувствуя недоумение Ольги, решил рассказать правдиво и подробно:

– Случайно все получилось, Оля. Я с границы вернулся. Только с коня было собрался прыгнуть слышу, дежурный

кричит: «Застава – в ружье!» Солдаты бегут на конюшню, начальник заставы уже на крыльце. Система, говорит, сработала. Прорыв в сторону границы, – и поняв, что принятая у пограничников терминология для Оли – темный лес, стал разъяснять: – По всей границе, где позволяет местность, есть контрольно-следовая полоса: несколько метров земли перепахано и заборонено так, что любо посмотреть. В огороде у хорошего хозяина и то земля так не ухожена. Наступил на нее – след как на ладони. А перед той контрольной полосой у нас есть еще и специальная сигнальная система. Сигнал дает на заставу, если кто пройдет мимо. Такой сигнал и получил тогда дежурный и сразу поднял заставу по тревоге. Пока солдаты седлали коней, я с моим коноводом, – слова «с моим коноводом» Северин произнес с нотками гордости, – я поскакал. А следовая полоса на нашей заставе в нескольких километрах от границы. Рядом с дорогой она, перед горами. Сосенки чахлые и арча. Разлапистое такое дерево сучкастое, а листья почти как у нашей елки, только какие-то пухлые. Неважное укрытие такие деревья, но все же – укрытие. И конечно, нарушитель выбрал путь по самому лесистому и глубокому ущелью. Змеиным его у нас называют. Можно было следом за ним кинуться. Сперва на конях, а потом оставить их, когда для них путь неподходящий, да бегом вверх. А можно – в обход. Километров на пять дальше, зато по дороге. А наверху, у самой границы, ровный луг. Там мы даже траву косим. Вот я и решил дальним путем проскакать.

Успели мы с коноводом и коней за скалой сбатовать, и сами спрятаться. Я на арчу взобрался. У поляны они чуточку гуще. Учел и психологию нарушителя, – это были явно не его слова, а те, которые услышал от командиров, подводивших итоги поиска и задержания. – Нарушитель будет в первую очередь смотреть, не укрылся ли пограничник за каким-нибудь валуном, а вверх не подумает задрать голову. Нарушитель прямо на меня вышел. Прямо под арчой остановился. Смотрит, на поляне никого. Два стога только стоят. Если кто там и укрылся, все равно не успеет отрезать путь от границы. А те, которые по ущелью и гребню преследуют, хотя и недалеко, но тоже не догонят. Уверился в этом нарушитель, шагнул было в сторону границы, а я ему на загривок. Хватит, дескать, набегался... И вот – медаль. Сам генерал вручал. Начальник войск округа.

Оля ловила каждое слово Северина, восхищаясь тем, как умно он поступил, а сердце ее учащенно билось от волнения и страха за своего любимого, которого шпион мог убить. А когда Северин окончил рассказ, она прокомментировала с лукавинкой в голосе:

– Просто у тебя все. Генерал ты мой, генерал...

Ей самой понравилось случайно сказанное слово, в них и признание его власти над собой, и – заманчивое будущее. Так и стала звать его Оля. И отец ее вторил дочери:

– Ну, проходи, проходи, генерал.

Только у того тон покровительственный, а в глазах –

усмешка. Северин чувствовал неискренность дяди Семена, но прощал ему все, разговаривал уважительно. Не знал еще Северин, что Олин отец против их дружбы. И не потому, что считал Северина не парой для дочери. Свое несогласия он постоянно высказывал жене, когда Северин с Олей уходили погулять:

– Видный парень, что и говорить, но был бы здесь, поближе. Работал бы на фабрике как все. Глядишь – институт кончил бы. А то увезет к чертям на кулички, и станет дочка наша волчицей жить.

– Бог даст, разрушится все, – сокрушенно вздыхала та. – Голова у девки покружится, покружится, да и утихомирится.

В надежде, что «дурь уймется», отговорили они играть свадьбу сразу, как Северин окончил училище и приехал в отпуск в новеньком лейтенантском обмундировании, хрустящим, с иголочки. Он сам попросился в Заполярье, где, как он считал, трудная служба, откуда трусы и слабаки бегут, и рассказал об этом Оле.

– Мне везде с тобой хорошо будет, – спокойно ответила она, и Северин, обрадованный, расцеловал ее.

В тот же вечер, во время застолья, сказали они о своем намерении пожениться. Тогда не спеша поднялся Олин отец, взял рюмку:

– Рады мы за вас, дети. Очень рады. Только спешить к чему же? Оле техникум прежде бы закончить. Или там, среди снегов, затерялся текстильный техникум? Как, генерал?

– Можно и заочно.

– Так-то оно так. Да лучше уж прежде получить специальность. Она ведь не мешок, плечи не оттянет. А оженитесь, какая учеба? Детишки пойдут.

Хоть и не согласна была Оля с родителями, но перечить не стала. Она не поняла истинных намерений отца и матери а они рассчитывали, что за то время, какое осталось учиться Оле, много воды утечет в Пахре, все может измениться. Се-верин-то будет далеко, а здесь парни – вот они. Кто-то, может, и перехватит сердце.

Не учили родители только одного: разлука, что вешняя вода в половодье, не такие она плотины рушит.

Глава четвертая

Замполит

– Дяденька, а дяденька, дайте я помогу?

Конюх, чистивший солового жеребца, распрямился, увидел высокого худенького мальчика в белой матроске, шортиках и в светлых босоножках, который стоял в раскрытой двери денника, и удивленно спросил:

– Ты чей?

– Папин и мамин.

Ничего не пояснил конюху ответ. К лошадям допуска нет, но если этот малец – сын какого-нибудь начальника? Прого-нишь, потом не оберешься упреков.

– Ишь ты, мамин, папин... Откуда, мол, такой нарядный появился?

– Я через забор. Во... – Женя показал на содранное колено и снова попросил: – Дайте, помогу.

– А если я за уши отдеру?

– Я только гриву расчесу и покормлю немножко. Вот хлеб и сахар. Потом снова – через забор. Никто не увидит. Ладно, дяденька?

– Раз нельзя, стало быть, нельзя! – сердито проговорил ко-

ных, очищая щетку о скребницу. – Хочешь, чтобы отца в милицию потянули? – и, увидев, как наливаются слезами глаза мальчика, спросил примирительно: – Аль реветь собрался? Конь, что ли, понравился?

– Жалко мне его, – всхлипнув, ответил Женя. – Очень, очень... Я ему буду сахар носить.

– А мать, мол, не всыплет?

– Она не узнает.

– Ишь ты, не узнает, мол. А можно ли родительнице лгать?

– Я никогда не обманывал. Вот только из-за Муромца.

– Ишь ты, даже кличка ведома. Ну-ка заходи, заходи...

Муромец вошел в жизнь Жени с того дня, когда отец, любивший конные состязания, взял его на ипподром.

– Пойдем, сынок, на скачки. Большой приз разыгрывается сегодня.

– Сам пропадаешь на дурацких скачках и ребенка заразить хочешь! – напустилась мать. – С этих лет и уже – скачки. Ты бы его лучше за книгу усадил. Сам что-либо захватывающее вслух почитал.

– Одно другому не помеха, – добродушно отговорился отец и поторопил сына: – Живей собирайся.

Они немного опоздали и едва втиснулись между толстой, словно откормленная утка, женщиной и высоким мужчиной в белой широкополой шляпе. Толстая тетя вертелась, больно толкая Женю локтем, и все возмущалась, отчего так долго не начинают, и почему не будет участвовать лучший, по ее

мнению, жеребец Мальчик. Женя терпеливо сносил толчки, смотрел на гладкое зеленое поле, опоясанное широкой серой дорогой, по которой, как пояснил отец, поскачут лошади. Изредка он переводил взгляд на дальние конюшни, откуда вот-вот должны были выехать всадники, и все не переставал удивляться, почему тети и дяди, такие нарядные, праздничные, ведут себя хуже девчонок, когда учитель опаздывает к началу урока.

И вот будто налетел шальной ветер, всколыхнул пестрые ряды, понес по ним радостное: «Едут! Едут!» – и утих. Толстая тетя больше уже не толкалась локтями, теперь она тянула жирную шею, пытаясь разглядеть всадников, словно мешала ей какая-то преграда, хотя даже Женя мог видеть копыта лошадей.

Всадники приближались. Взгляд Жени теперь все больше останавливался на желтом, как только что вылупившемся цыпленке, жеребце со снежно-белой гривой. Жеребец пружинисто рысил, а жокей в кумачовой атласной рубашке то и дело похлопывал его по шее, успокаивая и сдерживая его.

– Ой, папа, какой он красивый! – не сдержался Женя.

– Верно, – подтвердил отец. – Соловый. Редкая и самая любимая в России масть. И кличка у него былинная – Муромец.

– Сильный он, да?

– Сейчас увидим.

А что смотреть? Все вон какие-то рыжие, черные, а Муром-

мец – красавец. Так и хочется погладить. Все шагают спокойно, а он будто заведенный. Конечно же он сильный и прискачет первым. А папка всегда такой: посмотрим, посмотрим.

Ударил колокол – лошади рванулись. Вперед сразу же вырвался белогривый жеребец. Женя обрадованно подбадривал его: «Давай! Давай!» – и даже не замечал, как толстая тетя снова заерзала и уперлась ему в бок локтем.

А всадники, обогнув поле, уже летели по прямой. Впереди все тот же жокей в кумачовой рубашке на соловом жеребце. Женя радостно кричал:

– Ура! Давай! Жми!

Но чем ближе к повороту, тем быстрее нагоняли Муромца два вороных жеребца. На повороте они поравнялись с ним, а потом обогнали. Муромец прискакал только третьим.

– Не рассчитал силы. Не рассчитал, – сокрушенно оценил отец, который тоже «болел» за Муромца.

Не понял огорченный Женя отца. Позже, повзрослев, он не раз будет вспоминать эти слова, осмысливая их, а сейчас подумал о том, что, видимо, плохо покормили лошадь, раз у него оказалось мало сил. Жене стало так жалко Муромца, что он едва не разревелся. И разревелся бы, если бы не толстая тетя с толкучими локтями. Постыдился он ее.

Ночью ему приснился соловый. Худой. Бьет копытом о землю и человеческим голосом просит хлеба. Всхлипнул, проснувшись, Женя от жалости, словно не во сне, а в самом деле видел голодного коня. С такой со жгучей жалостью

вспоминал солового даже на уроках географии – самом любимом предмете.

Через пару недель отец снова взял Женю на ипподром. И вновь в первом заезде скакал соловый. И так же, как и в прошлый раз, отстал совсем недалеко от финиша. Обогнала его какая-то рыжая лошадь. Женя в тот момент искренне возненавидел жокея, плохо, по его понятиям, ухаживавшего за жеребцом.

Муромца он снова увидел во сне. А утром решил твердо: «Пойду после уроков к нему».

Поначалу с улыбкой слушал конюх рассказ мальчика, а потом посерьезнел и протянул жилистую руку.

– Давай знакомиться. Гаврила Михайлович я. Rogozin.

– Евгений Алексеевич Боканов.

– Ишь ты, Лексеич... Евгений. Женька, стало быть?

– Да.

– Затем и пришел, что жалость одолела?

– Да. Я жокеем хочу.

– Ну, это ты плевое дело удумал. Не конь, стало быть, тебя беспокоил, а кумачовая рубаха приманула. Яркости много – это верно. Гарцевать всяк горазд, а вот чтоб с душой к коню, так это, мол, не каждый. Сам-то я так мыслю: либо конь, либо слава.

Не понимал мальчик упрека. Женя хотел стать жокеем именно потому, чтобы не обижать лошадей, кормить их вдоволь, мыть, заплетать гриву и хвост, а потом расчесывать их,

не бить хлыстом, а по-хорошему, по любви, чтобы понимать друг друга.

Гаврила Михайлович сменил меж тем ворчливый тон на добродушный.

– Рановато твоим разумом в толк все это взять. Ну а пока суд да дело, бери-ка щетку.

Более часа провел Женья в деннике у солового. Муромец поглядывал вначале недоверчиво на незнакомого мальчишку, почувствовав же искреннюю ласку, когда Женья стал старательно расчесывать гриву, жеребец повернул голову, мягко взял губами ухо мальчика и стал его тихонечко пощипывать – Жене было щекотно, хотелось отдернуть голову, но он терпел. Радостью светилось его лицо, а сердце замирало от блаженства. Конюх же удивленно покачивал головой и говорил ласково:

– Ишь ты, что твои влюбленные. – Помолчав немного, добавил решительно: – Вот что, Евгений Алексеевич, айда-ка к моему начальству. Сродственником тебя представлю, через калитку ходить будешь.

Домой Женья шел, мурлыкая песенку про молодого капитана, а ему хотелось петь во весь голос, кричать о своей большей радости. Только вот прохожие тогда удивятся. Разве поймут? Вот дома – другое дело. Женья представлял, как обрадуется отец, узнав о чудесном конюхе, о Гавриле Михайловиче, который для Жени сейчас был самым хорошим дядей на земле; о Муромце, щипавшем ухо, – отец потреплет

его по стриженной «под бокс» голове и скажет: «Хорошо, Женя, хорошо. Можешь ходить к своему Муромцу, когда хочешь, только чтобы пятерки в дневнике не перевелись», – а мать поворчит-поворчит, потом тоже согласится, только непременно потребует ходить только не в матроске. С отцом он соглашался, с матерью – нет. К Муромцу нужно ходить нарядно, как на праздник.

Именно с такими мыслями влетел Женя на третий этаж по лестнице и нажал кнопку звонка, слушая, как звонок радостно дребезжит в коридоре.

Дверь открыла мать. Упрекнула:

– Что это ты расшалился? – И сразу же, всплеснув руками, воскликнула: – С костюмом что сделал, шельмец?! А босоножки?! Словно конюшню чистил!

– Да, мама. Я у Муромца убирал.

– Жеребец соловый. На ипподроме, – начал было пояснять отец, который тоже вышел в коридор, но мать накинулась на него:

– Вот они, твои скачки! Воспитал ребенка. Полюбуйся! Конюха еще у нас в доме не хватало! А так все есть, слава богу! Ну-ка, снимай все, – приказала она Жене. – Матроску давай в стирку. Босоножки помой. И сам – под душ. Живо!

Снимая матроску, Женя выронил из бокового кармашка расческу, которую взял еще утром, уходя в школу, с трельяжа в прихожей.

– Вот она. А я ее искала. С ног сбилась. Для чего брал?

– Я гриву...

– Господи! Она же – роговая. И гриву какой-то паршивой лошади. Где я теперь такую куплю?

Отец хотел вмешаться, объяснить жене, как уже объяснял сыну, сколько раз, что конь испокон веков – кормилец русского человека, его боевой друг и что все эти тракторы, комбайны, все машины – вся придуманная человеком техника, для него же непривычная и не так дорога, а вековая привязанность к лошади, к другим домашним животным еще долго будет передаваться с родительской кровью детям, внукам, правнукам. Как же не понять этого? Отчего же топтать естественное чувство сына, воспитывать из него чистюлю с черствой душой, для которого нет ничего святого; но, собираясь сказать это, он представил, как слова его вызовут бурную реакцию жены, она начнет упрекать его во всех смертных грехах, поэтому он махнул рукой и ушел к себе в кабинет. Взял «Роман-газету» и, устроившись поудобней в кресле, раскрыл ее, но, не начав читать, продолжил мысленно убеждать жену, даже спорить с ней. Вместе с тем он понимал, что ни одного слова из этого мысленного диалога жене он не скажет.

Он уже давно понял, что бесполезно в чем-либо убеждать ее, что любые доводы отвергаются резко, без каких-либо объяснений, если они не укладываются в рамки ее понятий, ее образа мыслей, ее жизненных правил. Он видел, что сын уже начал понимать и по-своему оценивать (отцу каза-

лось – верно) взаимоотношения родителей и все откровенней делился сокровенными мыслями с ним, а матери иногда даже дерзил. Но не так уж часто и у отца с сыном получался душевный разговор. Обескураженный, раздраженный очередной бестактностью жены, отец иногда был груб с сыном, отчитывал его за малейшее неповиновение, за вольную шутку, усматривая в ней подрыв отцовского авторитета. Сейчас, он знал это, тоже спокойного разговора с сыном не получится, и все же ждал его. Хотел услышать исповедь.

Женя действительно пришел. Но отец встретил его сердитым взглядом (он все еще вел мысленный спор с женой) и сердито бросил:

– Садись.

Отложил «Роман-газету», в которой так и не прочел ни одной строчки, и потребовал:

– Рассказывай, куда тебя носило?

И ругнул себя: «Чем же ты лучше матери? Отец!» – но слова сказаны, вернуть их не вернешь, и он стал ждать, когда заговорит сын, постепенно начиная сердиться на то, что тот так долго молчит. А Женя, который очень надеялся, что отец поймет его, пусть не разделит радость, но поддержит, теперь совсем скис. Он, едва сдерживая слезы, выдавил из себя:

– Я маме уже говорил.

– А ты мне, – видя, как вздрагивает нижняя губа у сына, и все лицо его выражает неподдельную обиду, более мягко попросил: – Ты повтори. Я же не слышал.

Женя нехотя, выдавливая из себя каждое слово, объяснял, почему взял без спроса расческу, сахар и хлеб, отец же, слушая его, все более хмурился. Он ругал себя за то, что так бестактно начал разговор с сыном, и думал, как загладить вину перед ним. Женя, однако, не знал и не мог знать мыслей отца, он видел его хмурившееся лицо и все с большим трудом выдавливал из себя слова.

– Ладно, сынок, иди спать, – понимая состояние сына, проговорил со вздохом отец. – Иди. К словому ходить будешь. Мать я уговорю. Условие одно – учиться хорошо. Уговор?

Он осознавал, что если сейчас даже извинится перед сыном, изменит тон разговора (хотя в том раздражительном состоянии, в котором он находился, вряд ли ему удалось бы это сделать), все равно той душевной близости, которая хотя и не так часто, но устанавливалась между отцом и сыном, и которая необходима была сейчас, чтобы разговор получился полезным и для сына и для него, отца, – той откровенности сейчас не получится.

– Будешь ходить к Муромцу. Только учебу не снижай, – еще раз повторил он и предложил на следующее воскресенье пойти снова вместе на ипподром. Он рассчитывал, что там, на ипподроме, выскажет сыну свое истинное отношение к его неожиданному увлечению, одобрит и поддержит его душевный порыв.

Однако ни в то воскресенье, ни после, хотя отец много

раз, когда бывал в добром расположении духа, пытался исповедоваться и ждал исповеди от сына, ни разу между ними не происходило задушевного разговора. Дело в том, что Женя в них больше не нуждался. Если прежде, как каждому ребенку, Жене нужен был человек, которому можно поведать свои детские мечты, разрешить в беседе сомнение, вдруг возникшее, и он тянулся к отцу, хотя тот не всегда понимал его и часто ни за что ни про что обижал, но все же хоть временами был добр и откровенен – теперь Жене было с кем поговорить и помечтать. Муромец, положив голову на плечо или пощипывая мягкими теплыми губами ухо, внимательно, как казалось мальчику, слушал его и понимал все, иногда даже вздыхал сочувственно, а уж Гаврила Михайлович – тот мог и слушать, мог и рассказывать.

Первый его рассказ буквально потряс мальчика. В урочное время Женя, как обычно, пришел к соловому, скормил купленный по дороге батон, подбросил свежего сена, убрал навоз и подмел в деннике, а конюх все не появлялся. Занятый Муромцем, Женя не вспоминал о нем, и приход Гаврилы Михайловича оказался для него неожиданным. Он даже вздрогнул, услышав его голос.

Привлек к себе мальчика, погладил шершавой ладонью по голове и вздохнул. Потом шагнул к Муромцу, взял его за челку, потянул к себе и сказал грустно:

– Не смог убедить. Ты уж извини старика!

Вновь вздохнул. Стоял, опустив сильные руки, словно не

знал, куда их девать.

Женя в недоумении смотрел на Гаврилу Михайловича, понимая, что тот чем-то сильно расстроен, и не понимая, кто мог обидеть такого сильного и доброго человека. А конюх расстегнул косоворотку и начал растирать ладонью грудь, пытаясь успокоить сердце.

– Что с вами, Гаврила Михайлович?! – тревожно спросил Женя. – Сердце, да? Я за валерьянкой сбегая. У мамы есть.

– Перетерпится, Женек. Перетерпится, – уверенно проговорил конюх и, еще больше оголив грудь, принялся старательно массировать и ее, и левый бок, но Женя теперь уже не следил за движением руки, а смотрел на рубец, тонкой змеей поднимавшийся от ключицы до шеи.

– Ой! Шрам какой?! – невольно вырвалось у Жени.

– А-а, – провел ладонью по рубцу Гаврила Михайлович, отчего шрам порозовел и будто увеличился. – Метка моя удивила. Есаул оставил. Почитай, с того света возвернулся. Сгнил бы давным-давно в земле, если бы не конь, друг боевой... – и, видя недоуменное любопытство во взгляде Жени, Гаврила Михайлович спросил: – Разобрало, стало быть, любопытство? Рассказать, мол?

– Да, Гаврила Михайлович.

– История, мол, больно длинная. Тогда так поступим: самовар сообразим, там всласть и повспоминаем. Дома только, мол, не заругают, если припозднишься?

– Нет, не заругают, – ответил Женя, сам же представил,

как накинется на него мать с упреками, в какой уже раз обвинит в том, что совсем от рук отбился, забросил учебу ради какой-то паршивой лошади и что преподаватели ставят пятерки по привычке, а нужно бы двойки; как отец попытается сказать слово в его защиту, но тут же пожалеет, что вмешался, и, махнув рукой, уйдет в свой кабинет – Женя представил все это так ясно, что даже зажмурился и потряс головой, чтобы отмахнуться от неприятных видений и еще раз повторил: – Не заругают. Папа говорит, чтобы учеба только не страдала.

– Да уж куда, мол, верней. Учеба, она, слышь, первейшее дело. Ты уж, детка, зубри науку, иначе, мол, и я привечать не стану. Так-то вот. А теперь – пошагали.

Домик Гаврилы Михайловича, щитовой, из двух комнат с маленькой кухонкой, стоял в дальнем углу ипподрома между старым тутовником и еще молодым, но уже развесистым орехом. Их осанистые ветки прятали от солнца домик, цветник в палисаднике и потому в домике всегда было прохладно, а розы, пионы и гладиолусы выглядели веселыми и нарядными, какими они обычно бывают на восходе солнца, еще не опаленные его жаркими лучами.

Цветник, трава под деревьями были густо усыпаны переспелыми ягодами тутовника, похожими на жирные серые гусеницы, и только дорожка была чисто подметена.

– Ого-го сколько! – воскликнул Женя и принялся собирать их в горсть, затем, подув на них для успокоения сове-

сти, отправил ягоды в рот.

– Мать не заругала бы?

– Что? – высыпая в рот очередную горсть тутовника, переспросил Женя.

– Мать, мол, не заругала бы, что немые?

– Ага, – ответил Женя, но не стал пояснять, что не только поругала бы, но и обязательно заставила бы выпить горькую пилюльку, а себе бы накапала валерьянки; но матери нет рядом, а Гаврилу Михайловича вроде бы удовлетворил ответ, и Женя продолжал собирать из невысокой травы сочные ягоды, поглядывая на Гаврилу Михайловича, который вынес большой медный самовар и принялся разжигать его.

– Довольно уж, вот невидаль какую нашел – тутовник. Самовар скоро поспеет. Иди руки ополосни, – позвал Гаврила Михайлович, и Женя послушно пошел к рукомойнику, прибитому к специально вкопанной рядом с крыльцом толстой доске, и принялся мыть руки, недоверчиво поглядывая на большой грязный кусок хозяйственного мыла, лежавшего в банке из-под шпротов, и на застиранное льняное полотенце. Он так и не решился взять мыло, а когда стал вытирать руки, то подумал, что обязательно нужно принести сюда туалетное мыло и полотенце. У матери их много, она даже не заметит пропажи.

– Иди в дом, оглядись пока, – подтолкнул Женю на крыльцо Гаврила Михайлович. – Там чаевать станем.

Жене и в самом деле нужно было время, чтобы оглядеть-

ся в незнакомой для него комнатке. Он впервые увидел такую малюсенькую комнатку, почти пустую, с маленьким оконцем, совершенно не занавешенном. И в их квартире и во всех других, куда ходил он с родителями в гости, и у его друзей стояла хорошая мебель, на стенах висели ковры, а у иных они даже лежали на полу; везде на окнах висели красивые портьеры, и Женя никогда не думал, что квартира может быть какой-то иной – теперь же он попал совсем в иной для него мир, и с растерянностью оглядывал убогую обстановку.

В комнатке – железная кровать с облупившейся краской на спинках, застланная ватным одеялом, сшитым из разноцветных неровных по размеру кусочков ситца, подушка с грязной, непонятного цвета наволочкой; а над кроватью – попона. Женя видел, как набрасывали такие же вот попоны на взмысленных после скачки лошадей. На попоне – две перекрещенные шашки. Ножны старенькие, потертые. Посредине комнаты – кухонный стол, облезлый, потрескавшийся. К нему приткнулись такие же облезлые табуретки. Женя, увидев все это, опешил. Он так и не решился сделать ни одного шага, пока не вошел с кипящим самоваром хозяин домика.

– Прими чуток, – сказал он, употребив привычное в обращении с лошадьми слово, но даже не заметил этого, а повторил более настойчиво: – Прими-ка.

Прошел к столу и, ставя на стол самовар, спросил:

– Ну, что так несмело? Помог бы, мол. Сахар с кухни дай. Стаканы, ложки.

В голосе Гаврилы Михайловича Женя не уловил ни нотки смущения, словно тот совсем не смущался своей бедности. Женя думал, что будь он на месте хозяина, сгорел бы со стыда. Если, бывало, мать в ненастную погоду отправляла его играть на улицу в потертых брюках и старенькой куртке, он старался не показываться на глаза ребятам и, немного погуляв, возвращался домой. Он видел, как начинали пытать щеки матери, когда вдруг приходила какая-нибудь приятельница, а квартира была не убрана. Женя не мог подумать, что для человека может быть приятным и естественным вот такой быт и что он сам скоро привыкнет к этой комнатке, а повзрослев (в девятом и десятом классах), когда родители не станут так строго контролировать его, даже будет приходить сюда учить уроки. Прямо из школы. Сейчас же Женя с трудом заставил себя взять плохо промытый стакан с чаем. Забыл он обо всем только тогда, когда Гаврила Михайлович начал рассказывать о шраме на шее.

— Есаула мы одного гоняли. Басмачи тогда уже приутихли, а он гулял еще по долинам. Напакостит, и в горы. Однажды ночью стучит мне вестовой: мол, эскадрону седлаться приказано. Бегу по темным переулкам к казармам и размышляю: не есаул ли снова объявился, не пустил ли где кровушку? Прикидываю: опять дней пяток, а то и более помощник мой на бойне будет один управляться. Как совладает, если быка на бойню приведут? Хиленький он больно уж был, в чем только душа держалась

Гаврила Михайлович налил в блюдце чаю, помакал кусочком сахара, откусил чуток от намокшего уголка, поднял бережно блюдце и принялся отхлебывать чай так сосредоточенно, словно ничего больше в этот момент для него не существовало. Женя терпеливо ждал, пока еще не понимая, какая связь может существовать между эскадронном и бойней.

«Неужели, чтобы кормит эскадрон, нужна целая бойня?» — озадаченно думал он.

А Гаврила Михайлович не спешил объяснять непонятное. Он медленно допивал чай, и только когда поставил пустое блюдце на стол, продолжил:

— В ту пору мы, мол, так служили: днем работаем, вечером — на плацу. Лозу рубим, через гробы прыгаем, да через изгороди всякие. Территориальные войска назывались. В эскадроне я — взводный. В быту, на бойне, — боец. Скот, мол, забивал. Когда в поход уходили, сменщик оставался. Только, мол, сильно он хилый был. Как без меня управлялся, ума по сею пору не приложу?

Снова затяжная пауза с блюдцем чая. И — продолжение.

— Тот раз в горы мы подались. Есаул и впрямь погулял. Вот уж, почитай, нагнали его, так он заслон в узком ущелье поставил. Так что в лоб не одолеть. Эскадронный приказывает: в обход, дескать, полувзводами. Я, мол, раз требуется, стало быть — слушаюсь. Понимаю, ели не опередим до перевала, уйдет нечестивец. Вот и поспешил. Да только зря ли в народе сказывают, что, мол, поспешишь — людей насмешишь. Вот и

насмешил. Весь полувзвод poleg.

Гаврила Михайлович снова налил чай в блюдце, хотя он и в стакане уже был остывшим, так же осторожно, чтобы не намочить лишнего, потрогал чай кусочком сахара и, откусив самую малость, быстро осушил блюдце. Женя заметил, что руки Гаврилы Михайловича, удивительно крепкие (Женя дал им определение – каменные), эти каменные руки сейчас нет-нет, да и вздрагивали. Повременив немного, Гаврила Михайлович вновь налил стакан из самовара и долго смотрел на белесую пленочку пара, кружившуюся над стаканом, все не решаясь продолжить рассказ. Наконец, вздохнув, заговорил:

– В сабли есаульские казаки нас взяли. Их – сотня, нас – дюжина. Хитер есаул, что тебе лис. Угадал мысли эскадронного. Мне бы тоже помыслить мозгой, а я – куда там: гоню, чтоб, мол, не ушел. Даже дозора вперед не послал. Вот и угодил в мешок. В засаду. Порубили их вдосталь, но осилить не осилили. А есаул все кричит своим, чтоб коней наших не калечили, сгодятся, мол. Да живьем, мол, взводного взяли. Живьем. Скольких я тогда порешил, не считал. Рука тяжелая была. Быка, бывало, кулаком по переносице вдарю, он и оседает на колени. А в бою кого задену, почитай, до седла располовиню. Но запетляли все же меня. Веревки из конского волоса – тужься не тужься, не лопнут. Со мной еще двоих заарканили. Столько живьем нас и осталось. Оглядел нас есаул, головой мотнул, и боевых товарищей моих – в шашки.

Враз порубили. А я стою.

– Большевик? – спрашивает.

– Иное, мол, мог подумать?

– Глядел, – говорит, – как ты рубился. Истинный казак. Чего ж большевикам продался?! Я тебе жизнь полностью сохранию. Чин определяю. Погуляем вместе. Согласен?

Помалкиваю я, а он приказывает клинок вернуть и веревки распутать. Сам вставил в ножны клинок и с усмешкой спрашивает:

– Что, мол, так получше будет?

– Лучше, мол, тебя, гада, рубить!

Хватя за шашку, только опередил он, полосанул по шее.

– Сколько я пролежал, ведомо ли кому? Чую, теплое что-то в щеку тычется. Глаза раскрыл – Перец мой стоит. И впрямь, перец-перцем был. Яркий. Горит. А уж горяч! Слабаку не удержать повода. Под седлом все гарцевал. Шагом не ходил. А мне и любо то. Одной думкой с ним жили. Вот так. Возвернулся, стало быть, боевой друг. Вырвался из поганых рук. Ложись, шепчу ему, вези к своим. Понял меня. Лег на камни и лежал, пока я на седло не взобрался... А вставал осторожно, вроде, мол, моя боль ему передавалась. Пошагал же ходко. Лежу я у него на шее, вцепился в гриву, сколь силы есть, а в голове одна думка, не свалиться бы, до своих дотянуть. Потом память отшибло. Когда опамятовался – стоит Перец как вкопанный. Почуял, должно, что сползать я начал. Шепчу ему, что шагал бы Перец, а сам силюсь, чтобы в па-

мяти остаться.

Еще одна передышка. Еще одно блюдо осушено, еще чуток от кусочка сахара, самая малость откусана. Трудный вздох и – продолжение:

– Довез меня, горемычного, до эскадрона. Вызволил, почитай, с того свету. Отлежался я в палатах больничных месяцев, иль даже побольше чуток, снова – в эскадрон. Командир толкует: куда тебе с порубленной шеей? А я, как, мол, куда? Есаула решать! Саблей, толкует, как вжикать станешь? Да так и буду, мол, пока есаул нашу кровушку пускает, дело, мол, в постелях валяться? Не вдруг, но с есаулом все же сшибся... Налет свой обычный бандиты совершили, а мы на этот раз успели обратный путь им перекрыть. Я к есаулу прорубился. Ну, гад, кричу, испробуй казацкую сабельку. До седла раскроил. Только и он мне в бок успел ткнуть. Храню я те сабли. Вон та, нижняя, есаульская, сверху которая – та моя.

Снова тягостное молчание. Вновь трудный вздох и не менее легкое продолжение:

– В строевые признали тогда негодным. Учиться посылали, не поехал. Директором бойни назначали, не согласился. Не стал от коней я удаляться. Пошел сюда. Ту жизнь, что Перец возвернул мне, с лошадьми делю. Холю их, словно своих деток. И уж они-то не подводят. На всех чемпионские попоны накидывали. Вот только Муромец...

И осекся. Не хотел говорить Жене, что решили продать

солового, как неперспективного жеребца, и что завтра его уже не станет в деннике. К душе пришелся старому человеку этот ласковый мальчонка, а он может не прийти больше, если узнает о судьбе Муромца. Не отворит двери денника, не улыбнется приветливо, и ему, Гавриле Михайловичу, будет очень недоставать этой приветливой улыбки. Ради того, чтобы мальчик ходил, чтобы его привязанность к умным и добрым лошадям окрепла, доказывал Гаврила Михайлович директору ипподрома, что дай Муромцу другого жокея, легко обскочет он своих однолеток, и цены ему тогда не будет. Не в колхоз, а в конезавод на племя пойдет, либо за границу – за валюту. Если положила руку на сердце, он верил в Муромца, заботился о его судьбе, но больше думал о мальчике. И теперь, представив, с каким разочарованием увидит Женья в деннике вместо солового рыжую кобылу, Гаврила Михайлович насупился. Но поборол свою неприязнь к начальникам, которые, по его понятию, поступили не по-людски, чтобы Женья не заметил его душевного состояния и не спросил бы: «Чем вы расстроены, Гаврила Михайлович?» Тогда он не смог бы промолчать.

А Женья и не видел, как посуровело, а потом снова подобрело лицо Гаврилы Михайловича – Женья не в состоянии был сейчас хоть как-то воспринимать реальность, он находился во власти впечатления, вызванного рассказом; он представлял себе горы (хотя ни разу в них не бывал), острые камни в крови, Гаврилу Михайловича, вцепившегося окровавлен-

ной рукой в гриву своего коня – Женя словно всматривался в раскинувшуюся перед ним картину, не в силах оторвать от нее взгляда, стремясь запомнить ее на всю жизнь; он даже не услышал вопроса Гаврилы Михайловича:

– Чай, Женек, сменить?

Не дождавшись ответа, Гаврила Михайлович переспросил:

– Чай, мол, остыл. Горячего не надо ли?

– Мне домой пора.

– И то верно. Припозднился.

Но Жене не было дела до времени, сейчас он даже не вспоминал о матери, которая встретит его привычными упреками – он сейчас находился, словно под гипнозом, и единственным его желанием было желание поскорее укрыться в своей комнате и остаться один на один с жутким и волнующим видением, которое, возникнув после рассказа Гаврилы Михайловича, все не проходило.

Однако же подсознательно, непроизвольно память мальчика зафиксировала изменения, хотя и мимолетные, в настроении Гаврилы Михайловича, и когда на другой день он войдет в денник и увидит рыжую тонконогую и угловатую, как девчонки из их класса, кобылу – он вспомнит то непривычно сердитое лицо и с запозданием поймет, отчего так волновался добрый и сильный дядя.

А Гаврила Михайлович спросит с ухмылкой:

– Ай не по нраву новая хозяйшюка? Гляжу на твою ото-

ропь, и думка у меня: не лошадь ты любил, а свой глаз красотой тешил.

Увидел бороздки слез на щеках мальчика, подобрел, привлёк к себе и, глядя по головке, упрекнул незлобиво:

– Ишь, осерчал... Муромца мне жальче твоего. Говорю директору, сменить, мол, жокея требуется, и пойдёт конь. Цены, мол, не будет. Да куда тебе, и слушать не желает. Какое, мол, конюх понятие имеет в лошадях! А Муромец, Женья, добрый конь. Жокей, сопливец, в кумачовую рубашку вырядиться-то вырядился, а ума – копейка. Без расчёту во-все. А без расчёту оно, мол, все кувырком. Ну да ладно, не помирать же... Муромца отправили. В косяк. Да вон и хозяйюшка нас ждёт. Ишь, шельма, как морду тянет. Учюяла хлебушек. Корми, стало быть. Что ж, что не соловый. Она тоже добрая.

Ещё нежнее, чем Муромец, брала рыжая кобыла хлеб. Едва касалась теплыми мягким губами ладони мальчика, будто гладила ее в благодарность за вкусное угощение. А когда Женья принялся расчесывать ей челку, кобыла, как и соловый, мягко ткнулась мордой в плечо и замерла в блаженстве. Тихой радостью наполнилось сердце мальчика в эти минуты, Женья даже забыл о Муромце, а вспомнив, не очень-то упрекал себя за забывчивость – ответная ласка непонравившейся с первого взгляда лошади как бы дополнила слова пожилого конюха: «Когда только себя любишь – ни от кого тепла не жди», – придала им осязаемый смысл.

Менялись лошади у Гаврилы Михайловича, а Женя неизменно ходил на конюшни ипподрома, то бывал у лошадей, то, сидя за самоваром, слушал рассказы о битвах с басмачами и белоказаками. Часто в домике конюха он даже готовил уроки. Дома же либо молча выслушивал упреки: «Паршивые кобылы тебе дороже матери», – либо отвечал спокойно:

– Я же отличник.

– Либералы твои учителя. Ребенок дома почти не живет, а они ему пятерки ставят. По поведению тебе больше неудачного нельзя поставить!

– Правильно, мам. Любимчик я у них. Я им улыбнусь, они мне – пять.

И о первой любви своей Женя поведал Гавриле Михайловичу. А вечер после последнего экзамена тоже провел у него. Пили чай, Женя рассказывал, как его одноклассники шпаргалили, обманывая бдительную комиссию. Там ему представлялось все интересным. Дома одно и то же: спросит отец: «Ну, как?» – и узнав, что снова пятерка, похлопает по плечу и похвалит: «Молодец. Теперь давай готовиться в институт», – а мать примется перечислять, какие вступительные в каких институтах. Женя уже не раз слышал все это и удивлялся, откуда и, главное, для чего мать все узнает – даже заводит разговор о московских вузах, которые, по ее мнению, подходят Жене с его блестящими данными. Особенно охотно она говорила обычно об Институте международных отношений, после окончания которого, как она считала, от-

кроется дорога в большой мир. Пересуды эти о его будущей карьере были очень неприятны – он давно уже решил, отслужив в кавалерии, стать жокеем. Сегодня, в такой особенный день, он не желал быть участником бесплодных мечтаний матери, но не хотел и огорчать ее.

А сегодня, когда десятый класс позади, родители захотят услышать наконец о его планах, его желаниях. Шуточками не отделаться. Вот и тянул время Женя, надеялся, что если придет попозже, все может закончиться лишь упреками: «Мог бы и поспешить. Знаешь же, что суббота, мог бы и помочь. А то совсем от дома отбился». Думая так, Женя предполагал, что мать, обычно делавшая по субботам уборку, затеяла ее и сегодня, вот и ждала его, чтобы помог, но ему сегодня ничего не хотелось делать.

На этот раз Женя ошибался. Отец, вопреки утверждениям жены, что отметить успеем, оглядимся недельку, позовем гостей, принес бутылку шампанского, торт, конфеты и, выкладывая покупки из толстого портфеля, назидательно проговорил:

– Крашеное яичко дорого к Пасхе. Готовь, мать, ужин.

– Ужин, ужин, – проворчала жена. – Говорю же – отметим. Созовем соседей. У меня на сегодня ничего не припасено.

На кухню все же пошла.

Стол они накрыли в гостиной, что делалось только по большим праздникам. Настоял отец. И вот теперь отец и мать Жени сидели и молча смотрели, как оседает лед в ве-

дерке, а запотевшая вначале бутылка шампанского, начинает слезиться.

– Вот до чего ты довел ребенка со своим ипподромом. Родители стараются, стараются, а сыну – трын-трава, – заворчала мать. – Я тебе сколько раз говорила!

– Да, не смогли найти контакта с единственным сыном, – грустно проговорил отец и сокрушенно вздохнул. – Упустили...

– Контакта?! Ишь ты, контакта не нашли! Поменьше бы потакал. Что ему дома не хватает?! Что, скажи?!

Голос ее креп, наливался расплавленным металлом. Та задумчивость, которая только что была у нее, совершенно исчезла. Глаза смотрели на мужа гневно. Она не могла понять мужа. Подобное не входило, верней, не вмещалось в ее понятие, в ее образ мышления, а, значит, было для нее неприемлемо. И она искренне возмущалась:

– От жира бесится! Попахал бы от зари до зари, косой бы помахал – от материнских щей за уши бы не оттянул. Лучший контакт! Что молчишь? Правда-то, она глаза колет!

– Хватит! Твое вечное недовольство сыном, твоя мелочная опека явились одной из причин...

– Я виновата?! Вон куда хватил!

Началась обычная перебранка, которая всегда закачивалась только тогда, когда отец, рассерженный вконец, чувствующий, что все его логичные доводы совершенно игнорируются, уходил в свой кабинет. Сегодня же он не ушел.

Неожиданно для самого себя, стукнул кулаком по столу, да так, что фужеры пугливо звякнули, и сказал не громко, но властно:

– Будем ждать хоть всю ночь. И прекрати пилить сына. Прекрати!

Жена, удивленно посмотрев на мужа, притихла. Лицо ее приняло маску незаслуженно обиженной, в глазах же – презрение. Выдают они предательские мысли: «Ничего! Потерплю! Потом сочтемся!»

Так и сидели они празднично одетые, за праздничным столом в тоскливом молчании до тех самых пор, пока не пришел их сын.

Дверь Женя открыл своим ключом, считая, что родители уже легли спать, а когда вошел в гостиную, даже опешил. Воскликнул невольно:

– Здорово как! А я думал, папа на работе, а мама...

Не досказал. Побоялся, что сейчас забурчит мать: «Одеваешь, обуваешь, воспитываешь, а в отчет, кроме неблагодарности, – ничего». Но родители, словно не поняли смысла сказанных сыном слов, отец поднялся навстречу с приветливой улыбкой и протянул ему руку.

– Поздравляю тебя с аттестатом зрелости. Проходи. Лед только вот растаял. Ну да это не беда.

И мать поздравила. Тоже с ласковой улыбкой на лице. Жене стало стыдно за то, что заставил родителей так долго ждать себя, и даже оправдывающая мысль: «Откуда я мог

знать, что сегодня будет исключение из правил?» не успокаивала. Жене захотелось непременно сделать для родителей что-нибудь хорошее, но он ничего не придумал, кроме того, что решил откровенно рассказать им о своей мечте. Да ему и показалось, что родители сегодня смогут понять его, и как только фужеры были выпиты, Женя сразу же заговорил:

– Пойду на ипподром работать. Жокеем стану. Только вначале...

– О, господи! – простонала мать, но отец цыкнул на нее, и она вновь затихла. Жене, однако, расхотелось говорить откровенно о своих планах, и он стал односложно отвечать на вопросы отца:

– Поработаю до армии... Потом? Потом отслужу в кавалерии. Непременно в кавалерии. Вернусь на ипподром. В институт? Может, пойду. Только в зооветеринарный. Заочно.

Не мог знать он тогда, что так и не придется ему проскакать в ярком наряде жокея и под одобрителный гул толпы первым пересечь финишную черту. А виной тому станет разговор в военкомате.

– Хочу в кавалерию, – упрямо ответит он седому тучному майору, который сообщит «по секрету» Жене, что его призывают в Военно-морской флот. – Хочу только в кавалерию!

Майор рассмеется громко и весело, долго не сможет успокоиться. Наконец, немного утихнув, спросит:

– Где же вы сейчас, юноша, найдете кавалерию? Скажите мне, пожалуйста. Нет ее. В колхозы поотдавали коней бое-

вых. В колхозы, юноша.

– Лошадь никогда не будет лишней в армии (Женя повторил слова Гаврилы Михайловича), а в горах как без коня?

– Верно. А вот – нет. В колхозы. – Потом вдруг спросил: – В пограничное училище пойдете? Только у них есть боевые кони. Решайте. Завтра доложите.

– Почему завтра? Сегодня. Я согласен.

– Посоветуйтесь дома с родителями.

– Отец и мать согласны.

– Ну, доложу вам, решительный вы юноша. Похвально. Весьма похвально!

Так распорядится время. Мечта останется мечтой. Вместо яркой атласной рубашки Евгений Боканов наденет китель с зелеными погонами курсанта.

Уже на втором курсе Боканов стал чемпионом училища почти по всем видам конного спорта и капитаном футбольной команды, которая заняла первое место в республиканских играх. К занятиям, казалось, он совсем не готовился, отвечал же неизменно на пятерки. Училище окончил «на отлично» и кандидатом в мастера конного спорта.

Завертелась в круговороте суток с перемешанными днями и ночами пограничная жизнь лейтенанта Боканова. Служба, служба, служба... Раскаленное солнце, пышущие жаром пески отнимали последние силы, и все же находил и время, и силы лейтенант Боканов для тренировок. На первых же крупных состязаниях он победил всех. И тогда начальник войск

округа вызвал его и предложил:

– Принимайте, лейтенант, ремонтный эскадрон.

– Есть!

– И еще вот что, лейтенант, готовьтесь на пятьдесят километров. Новый вид на первенстве погранвойск. В эскадрон поступили ахалтекинцы. Быстрые. Выносливые. Подберите себе. Условились?

– Есть!

Он получил все, о чем мог только мечтать. Теперь он совсем забыл о том, что ночь создана для того, чтобы человек мог поспать. Манежи, конюшня и снова манежи – вот его привычный маршрут тех месяцев. Особенно строптивых коней к корде и седлу Боканов приучал сам. Ему нравилось буйство степных красавцев, взвивавшихся на свечку при одном только прикосновении седла. Жесткий храп, оскalisiые зубы, налитые кровью глаза, прижатые уши и напружиненные ноги дикаря, словно выжидающего момент, чтобы ударить копытом ненавистного человека – все это не пугало Боканова, а наоборот, побуждало к действию, заставляло быстро и верно обдумывать каждое движение, каждый жест, каждое слово. Шла борьба, и, как в каждой борьбе, кто-то должен был уступить. Лейтенант Боканов не мог и не хотел уступать. Но не только азарт борьбы захватывал его, он искал среди буйных красавцев самого быстрого, самого выносливого и самого понятливого, чтобы затем подчинить его своей воле, приучить его жить одним стремлением – победить, по-

бедить. Боканов нашел такого коня. Ахалтекинца по кличке Буян. Лейтенант с каждым днем все больше убеждался, что Буян будет первым. А первые конные пробеги на всю дистанцию окончательно убедили Боканова в этом. Он готовился даже побить мировой рекорд, но увы – где-то на Дальнем Востоке, а затем в Забайкалье загнали коней неумелые всадники во время тренировок, и пятидесятикилометровую дистанцию отменили. Все, чем жил лейтенант последние месяцы, вдруг рухнуло. Его уже не привлекали ни рубка лозы, ни конкур-иппик, ни езда в манеже, да он и не тренировался по этим видам спорта, на соревнования поэтому поехал подневольно, после горячего разговора с начальником войск округа.

На соревновании попался ему по жребию тугой на управление конь, а в то короткое время перед стартом Боканов не смог найти с конем «общего языка» – время показал весьма посредственное, да еще и сбил три препятствия. На этот раз аплодировали не ему.

А начальник войск округа встретит его упреком:

– Отомстил, считаешь? Так-так... Главное, значит, – не дали мировой рекорд установить. А честь округа для вас, лейтенант, видно, пустой звук. Ошибся я в вас, лейтенант!

Когда через несколько месяцев после того разговора потребовалось перевести из Туркмении в Забайкалье группу офицеров, Боканов оказался в той группе.

Глава пятая

Моя жена Лена, поклевав носом с полчаса, извинилась:

– Пойду спать. На столе все есть. Обойдетесь без меня.

И верно. Уже перевалило за полночь, а ей нельзя слишком переутомляться. Теперь мы одни. Северин Лукьянович наливает рюмки.

– Что, замполит, вздрогнем?

Слово-то какое? Жаргон заправских выпивох. И это у человека, который даже, бывало, на свадьбе в становище, где уж никак нельзя обидеть отказом хозяев, больше рюмки не выпивал. Вот так крутнула человека жизнь.

– Ты словно вину свою водкой залить собираешься? – спросил я и сам удивился жесткости вопроса.

– Да, хотелось бы... – совсем не пьяным голосом ответил он. – Только ведь совесть не заспиртуешь, как тритона.

Он достал из кармана перчатки и бросил их на стол.

– Они для меня – реликвия и немой упрек моей совести. Обезножил совсем, а в камни вцепиться хватило сил. За жизнь боролся, значит. За свою, – вздохнул судорожно. – А в памяти ничего не осталось. Вот и грызет совесть, сверлит вопрос: как же это случилось? Теперь понимаю: в книжках и в кино, оно, конечно, здорово – волочит товарищ товарища, падает, привстает, опять падает, глядишь, выдюжил, вынес все же.

Полосухин усмехнулся грустно, взял бутылку с водкой, подержал в задумчивости, но так и не налив в рюмки, поставил ее на место. Тяжело вздохнув, вновь заговорил:

– А жизнь, она хитрей книг и кино. Она не втискивается в созданные нами рамки. Вот обвиняют меня в том, что не предусмотрел всего. Не переждал, дескать, пургу. Вернулся бы, говорят. Метку поставил бы, как обезножил. Только пустое это все... Ничего я не мог предвидеть, вернуться не мог, а на метку сил уже не было совсем. Да и сознания. Меня другое казнит: почему раньше не оставил солдата? Боялся осуждения. Боялся, что скажут: какой же он командир, что бросил подчиненного? – И вдруг совсем иным, решительным тоном, сказал: – Нельзя жить в плену предрассудков! Нельзя!

И замолчал, опустив голову на сжатые кулаки.

Не сразу я уловил истинный смысл того, о чем говорил Полосухин. Поначалу мне показалось, что он кощунствует. Я даже с неприязнью подумал:

«Каков, а? Верно ведь: что у трезвого на уме, у пьяного – на языке».

Товарищество, взаимная выручка, готовность пожертвовать собой ради боевых друзей – это же основа пограничной жизни. Да разве только пограничной? Разрушь эту основу, рухнет все здание. Совершенно немыслимо спокойно идти на службу в наряд, где неожиданность – явление обычное, если загодя знаешь, что в трудную минуту не окажется рядом плеча товарища. Верного и надежного плеча. Я даже хо-

тел высказать все это Полосухину. Резко. Но сдержался, решив выслушать его исповедь до конца, а потом даже похвалил себя, что не прервал начальника заставы. Я осмысливал его слова, и мне открывалась логичность и верность его рассуждений – он был против показного в товариществе, против эффектного героизма. Он не замахивался на привычное, никем не оспариваемое прежде: «Сам погибай, а товарища выручай», он не отрицал вовсе этот принцип, он предлагал свое решение этого принципа – спаси товарища, действуя разумно, и если так диктует обстановка, вопреки сложившимся канонам, лишь бы с пользой. И все же необычность рассуждения Полосухина настораживала.

– Хочешь знать, как все произошло? – вдруг спросил Полосухин. – Помнишь, армейцы летом в Атай-губу приезжали?

Как не помнить? Мы еще не устроились тогда как следует, да и жена затемпературила отчего-то, и мне так не хотелось сопровождать армейских полковников и подполковников, но Полосухин приказал:

– Бери ефрейтора Гранского, и давай к ним. Гранский местность отлично знает, а ты – как раз изучишь.

Выехали мы на нашем катере в полночь. Солнце неподвижно висело над самым, как мне представлялось, Северным полюсом и пронзало холодными скользящими лучами горбы невысоких спокойных волн, отчего море, казалось, искрилось спокойной радостью. Я тогда еще не привык к тому,

что море может буквально на глазах менять и настроение, и цвет: то оно выглядит добродушным, то вдруг нахмурится, потемнеет, то заискрится бирюзой, станет ласково гладить хмурый замшелый гранит берегов, то, взбесившись неожиданно, загуляет пенными волнами, готовое в дикой злобе расшвырять со своего пути твердолобые острова и береговые утесы, – да и когда было привыкать к нему, выходил-то я в море до этой поездки всего один раз: на второй день нашего приезда Полосухин свозил нас с Леной на остров Кувшин показать птичий базар и сообщить, как мне тогда показалось, с гордостью, о том, что на острове снимался фильм «Море студеное». У меня тогда не было большого желания ехать на прогулку, а Лена, услышав предложение Северина Лукьяновича, даже испугалась; но нельзя же было обидеть гостеприимного хозяина, которому хотелось хоть чем-то порадовать нас, и мы согласились. Как потом я был благодарен Полосухину за ту поездку! Именно тогда покорила меня Север своим величием, своей вроде бы не пробудившейся силой, бесконечностью далей, птичьим гомоном, жадностью к жизни – не прежде, когда мы плыли рейсовым теплоходом через штормовое море, не тогда, когда рыбаки с трудом высадили нас в Стамуховую губу, чуть не перевернув лодчонку в нескольких метрах от берега, а именно в ту поездку был я заморожен таинственным могуществом моря и скал.

Но тогда была прогулка, я только восхищался увиденным, сейчас же – работа. Мне нужно было изучать участок, все

запоминать. Такова проза пограничной романтики.

Обогнув мыс, катер начал набирать скорость, словно вздохнул полной грудью, вырвавшись на простор. Черный крест на скале стал удаляться, терять зловещую четкость, а вскоре словно растаял в воздухе. Катер забирал мористее, чтобы обогнуть Островные кошки, которые, как говорили поморы, не с Божьего благословения здесь. Рыбаки авторитетно утверждали:

– Бес, видать, сыпанул горстку камушек, пока Бог дремал после трудов праведных.

И в самом деле, откуда они? Почти весь берег по всей Семиостровной салме – песчаный. Первые пески начинаются от Стамуховой бухты и тянутся до реки Падун. В устье Падуна – утес. Словно огромный волнорез высился над морем. За ним – снова пески. Вторые. Тянутся километров на пять. Огромный красивый пляж. Море бы только потеплей.

От края Вторых песков, напротив Кувшина, почти всю салму перерезают гранитные надолбы. Полная вода их укрывает, на малой – скалятся кошки черными клыками. В самую тихую погоду море здесь кипело, и беспрерывно кружились над кошками чайки, шлепались одна за другой в кипящую воду кайры, тупики и, выхватив из пены рыбину, возвращались на Кувшин, чтобы покормить прожорливых детенышей – птицы беспрерывно сновали между островом и рифами, и издали казалось, что между ними переброшен воздушный мост.

Через полчаса мы уже подходили к Кувшину. Гвалт такой, что впору уши затыкать. Ефрейтору Гранскому, исполнявшему роль гида, чтобы «представители» могли слышать и запомнить названия островов и заливов, а попутно узнать как можно больше о знаменитом острове, на котором снимали фильм, приходилось основательно напрягать голосовые связки.

Остров Кувшин – небольшой, но высокий. Издали он походил на огромный горшок, поставленный на воду вверх дном. И только когда подходишь к острову ближе, становится видно, насколько густо изрезаны крутые берега бухточками и расщелками, какими острыми копьями торчат гранитные скалы, между которыми, сердито переругиваясь, толкаются кайры. И только самый верх – ровный. Почти круглая поляна, метров двести в диаметре. По краю той поляны чинно восседают чайки-бургомистры, а между ними ютятся моевки и снуют черные поморники, терпеливо увертываясь от щипков.

Вот взлетела моевка, заскользила вниз, к морю, и вдруг камнем упала в воду, а через миг уже взмыла вверх с рыбой в клюве. Рыба силилась вырваться, трепыхалась, а чайка медленно передвигала клювом по телу рыбыны от середины к голове, чтобы потом заглотнуть ее – упорно боролись хищница и жертва, и не заметила чайка, как черной грозой налетел на нее поморник и долбанул ее в голову; чайка отпрянула, но поморник вновь налетел на нее; бил до тех пор, пока не

выпустила моевка добычу и не кинулась на обидчика; но поморник того и ждал, подхватив рыбину, он пустился наутек, торопливо глотая украденную добычу. Тоскливо простонала чайка и снова устремила глаза в малахитовую глубь моря. А поморник опустил на поляну Кувшина, и как ни в чем не бывало, стал увертываться от увесистых щипков бургомистров и моевок, выжидая, когда снова какая-либо моевка полетит за добычей.

– Ишь ты, ловок! – не то осуждающе, не то восхищенно сказал кто-то из «представителей». – Ждет своего часа.

– Справа – губа Ветчиной крест, – громко доложил ефрейтор Гранский. – За ней – Третьи пески. А дальше – Атай-губа. Причалы на ее левом берегу.

Вот так. Засмотревшись на, как мне тогда показалось, редкий случай птичьей подлости, я даже не заметил, как катер миновал Островные кошки и приблизился к берегу. Теперь, после доклада Гранского, я принялся его внимательно рассматривать.

Так же, как удивило меня непонятное, дошедшее до нас из седой старины название губы, когда я прочитал его на схеме участка заставы, так теперь поразила и сама губа. Первое впечатление такое: страшное чудище положило голову на мягкий песок и, оскалившись, полощет в воде свои замшелые зубы. И чем больше я всматривался, тем впечатление усиливалось. У правого и у левого берегов врезались в воду через равные промежутки утесы-зубы, за ними горбились

челюсти и скулы, а венчала все это полукруглая скала, очень похожая на надбровную дугу. Темные же, в густых трещинах кресты (один на правом берегу, второй – на левом, третий – на надбровной дуге) усиливали сказочную таинственность. И даже наш приземистый домик с плоской крышей (летом – пост наблюдения, зимой – обогревательный пункт) не нарушали той сказочности.

О чем говорит это старинное название? Что поведали бы эти дубовые кресты, почерневшие и даже потрескавшиеся от времени, если бы смогли заговорить. Надгробные ли памятники смельчакам, которые пытались познать Север и покорить его? Либо могилы трудяг-промысловиков, чей путь определялся одним – наличием моржей и тюленей? Сколько таких крестов на берегах Баренцева и Белого морей, по берегам всех Студеных морей? А каждый крест – тайна веков. Каждый крест – трагедия человека, а то и всего экипажа. Кто может рассказать о них? Кто?

Когда я, позже, все свои раздумья поведал Полосухину, тот посоветовал узнать у деда Савелия. И кто забил в гладкий, почти без трещин гранит на Лись-наволоке, на берегу Мерзлой губы крепкие железные клинья-кнехты, по сей день едва изъеденные солью и ржавчиной, тоже знает дед Савелий.

Гранский утверждал, что викинги, а Полосухин усмехался в ответ и советовал мне:

– Ты сходи к деду. Сходи.

Хотелось верить, что викинги. В этом есть какая-то волнующая романтика. Но лучше знать истину. Да разве все сразу сможешь узнать, оправдывал я себя и строил свои таинственные гипотезы о возникновении крестов и железных клиньев.

Катер миновал Третьи пески и торопливо заскользил по спокойной глади Атай-губы к видневшимся в глубине залива небольшим деревянным причалам.

— Атаек много водилось здесь, вот и назвали Атай-губа, — авторитетно пояснил Гранский. — А причалы для строителей дороги сделали.

Как только катер ошвартовался у одного из причалов, мы поднялись на берег, откуда начиналась широкая и гладкая дорога, по которой не прошла ни одна машина. Как пояснил Гранский, существовал вроде бы план строительства дороги по всему берегу Кольского полуострова, но что-то помешало осуществить тот план, и вот теперь несколько подобных небольших отрезков осталось на полуострове. На нашем участке пересекала она мертвой полосой каменистые холмы с редкими карликовыми березками и сухим ягелем, теряясь в вараке — редком невысоком лесочке. Левей дороги, почти у берега реки, зияли пустыми глазницами окон длинные бараки, вокруг которых кое-где еще торчали полусгнившие столбы когда-то высокого забора из колючей проволоки. Справа, насколько было видно, лежала каменистая равнина. Голая. И будто безжизненная. Словно корова языком лизнула. И лишь вдали громоздились скалы, наползая друг на друга

и теряясь в сизой солнечной дымке.

Все эти сценки недавнего прошлого буквально промелькнули в моей голове за ту короткую паузу, которую сделал Полсухин, и когда он продолжил рассказ, внимание мое уже не отвлекалось.

– Армейцы еще раз приезжали, когда ты на учебном был. Облюбовали место километрах в десяти от берега. Думаю, что с весны там начнется строительство. Грузы пойдут. Люди. Значит, пост придется там держать. Вот я и пошел на рекогносцировку. Определить, где удобней домик для поста соорудить. Взял с собой Михаила Силаева. Лишняя закалка – не во вред. До обогревателя у Ветчиного Креста нормально дошли. Вижу, устал Миша, но крепится. Помалкивает. Спрашиваю: «Ну что? До Атайки?» А он бодрится: «Конечно. Шесть километров по отутюженной равнине – что за вопрос!» Согласился я. Дошли до Атай-губы и там переночевали в обогревателе. После ужина лишь обошли по берегу губы и сразу – спать.

Новая пауза, после трудного вздоха. Потер Полсухин ладонью лоб, словно пытаясь активизировать воспоминание, чтобы ничего не упустить. Продолжил с не меньшей грустью:

– Утром – в обратный путь Ветерок попутный. Лыжи бегут сами. На небе – ни тучки. А потом – позори. Хорошей, значит, быть погоде. И вдруг от вараки хлестануло так, что на ногах едва устояли. Горный. Ледяной. Миша мой через четверть часа скис совсем. Поволок я его, да все поглядываю,

не поморозил ли он лицо и руки? А сам-то я тоже на пределе. Укрылись за камнем. Ветер потише за ним. Мысль стучит в голове: оставить нужно Мишу, пока силы у него есть. Понимаю умом, что все тогда хорошо получится: его заметет снегом, и не замерзнет он до того, пока я приведу оленей, а смелости не хватает оставить солдата. И ведь знал твердо, что без оленей крышка нам. Вытащил я НЗ. Ты же знаешь, Оля всегда печенье с маслом в карман мне совала. Почти все отдал ему. Ожил он вроде. А прошли малость – снова скис. Тащил я его, пока меня не сбил ветер. Поднимусь, метров сотню одолею и снова – на камни валюсь. Хоть бы, думаю, лощинка какая, валун какой на пути попался. А потом уж не помню, что было. А оставил бы солдата, связался бы из обогревателя с заставой, сам бы на оленях поехал. Быстро бы нашли. Вот так, Евгений Алексеевич...

Вздыхнул грустно и долго смотрел на Серого волка с Иваном-царевичем и Василисой Прекрасной на спине, словно любовался стремительной силой дикого зверя. Потом взял перчатки, посмотрел на них так, словно видел впервые порванную во многих местах кожу и, ухмыльнувшись, швырнул на прежнее место.

– Вот видишь, боролся за жизнь, когда силы только и осталось, чтобы мертвой хваткой обнять камень.

Я взял перчатку. Во многих местах кожа была вырвана клочками, и я попытался представить себе, где, на каком месте есть острые камни, и не смог. Плоско все там. А кам-

ни гладкие, старательно отполированные за тысячелетия дождем, снегом и ветром.

«Впился в гладкие камни. Впился ладонями!»

У меня даже мурашки побежали по спине от одной мысли, что подобное со мной могло и может случиться: Север, он – Север. Больше я не сомневался в искренности Полосухина. Поверил ему, хотя знал, что придется говорить еще и с поморами, и с солдатами, выслушивать их мнения, но я уже был твердо убежден: стану за Полосухина бороться, с кем бы ни пришлось схлестнуться.

– Все! – вдруг решительно сказал Полосухин. – Хватит говорить. Я – домой. Ты – отдыхай с дороги. Наряды высылает старшина. Он на заставе сейчас.

– Пойду и я на часок. Не спят же солдаты.

– Да, не до сна им...

Мы вышли на крыльцо. Огромная прозрачная луна как раз начала выползать из-за дальних скал, высвечивая их, заливая все молочной кисейностью, отчего снежные сопки вокруг становища и заставы, Чертов мост через реку, приземистые дома на берегу реки, сонное море и оголившийся на отливе песчаный берег – все вокруг казалось каким-то мягким, серебристым, и даже кипака¹, которая начиналась метрах в ста от портопункта вверх по реке и называлась Страшной за зловещий отблеск гладкого гранита, сейчас вовсе не была зловещей, а ласково лучилась, как и все окрест, сереб-

¹ Кипака – каменистый, крутой морской берег.

ристыми лучами. Я завороженно смотрел на неповторимую картину, на луну, все выше взбиравшуюся в небо и словно толкавшую пред собой серую дугу, похожую на мягкую корону, и боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть покойную умиротворенность природы. Какое ей дело до людских горестей? Суета сует. Я даже вздрогнул, когда Полосухин сказал со вздохом:

– Завоет через часок-другой. Передай старшине: все наряды – домой. По линии связи.

Этого можно было бы и не говорить. И мне, и тем более прапорщику Терюшину хорошо известны установившиеся в Заполярье правила: солдаты, несущие службу в нарядах, как только начинается сильная пурга, выходят на связь с заставой, чтобы получить новые указания. Они же обычно тоже известны: если недалеко от заставы – домой, придерживаясь линии связи, а ближе к какому-либо обогревателю – туда. Если какой-нибудь наряд не вышел на связь, его непременно начинают искать. Как начали искать и нашли Полосухина с Силаевым.

А корона над луной – верный признак приближающегося шторма. Не могут не видеть короны пограннаряды, и уже, конечно, принимают нужные меры. Особенно сейчас, после такого происшествия. Всегда, по большому счету, как случается несчастье, люди становятся осторожней, расчетливей, собранней, пока время не сгладит остроту восприятия. Тогда вновь повседневная опасность становится привычной и от-

того не столь опасной. Сегодня предупреждать солдат просто излишне. И все же я не стал возражать начальнику заставы. Пообещав, что все исполню как следует, распрощался с ним и пошагал к заставе.

Сапоги мягко погружались в песок, скользили, и это показалось мне даже приятным.

«Вот он – дым отечества», – подумал я, вспоминая, как прежде сыпучий песок раздражал меня, особенно в ветреные дни. Идти трудно, песок набивается в уши, хрустит на зубах – Сахара и Сахара. Только холодная, арктическая.

Мы с начальником заставы и старшиной мечтали о том дне, когда бросит в салме якорь логгер с кирпичом и лесом для новой заставы. Место было уже выбрано: противоположный берег метрах в двухстах от становища вверх по реке, перед самым поворотом, напротив Страшной кипаки. Там глубокий и тихий затончик, где катер может свободно стоять даже на малой воде, не обсыхая, не заваливаясь на бок, как теперь. Приливы, однако, и отливы доходят до затона, оттого он, как и само море, не замерзает. Дальше, за поворотом, лежит зимой на реке толстый лед, а в затоне он лишь в очень холодные дни ложится хрупкой пленкой. Берег крут и переходит в ровную поляну, защищенную от ветра подковообразной скалой. На поляне – ромашки и невысокая, но густая трава. Для здешних мест – удивительный, я бы даже сказал уникальный, уголок. На десятки километров ромашек нет. Откуда взялись они здесь? Ответить, как и на многие явле-

ния Севера, никто не мог. Зато все гордились этой поляной и оберегали ромашки. Срезали цветы по острой необходимости острым ножом и возможно короче. Больших букетов никто не нарезал. А когда я, еще не знавший ничего этого, нарвал солидный букет для Лены, меня встретил у Чертова моста низенький сутуловатый мужчина в телогрейке и в новенькой фетровой шляпе. Посмотрел сердито и, не здороваясь, назвал:

– Шушунов я. Игорем Игоревичем величают. В Сельсовете – председатель, – сделал паузу, пережидая, какотреагирую я на это сообщение, затем спросил: – Родом с теплых краев? – И сам же ответил: – Оттуда. Разве изводил бы красоту эту? Ишь, под корень, почитай, под самый!

А буквально через месяц, когда мы вместе с начальником отряда вошли к Игорю Игоревичу, чтобы посоветоваться, где ставить новую заставу, Шушунов удивленно переспросил:

– Как где? На ромашковой поляне. Катер что у бога за пазухой встанет. И любо там жить. Ромашку-то, разумею, не всю погубите. Во дворе загляденье будет и на воле для становища чуток останется. Где сыщешь такую-то еще заставу? Скажите на милость? На весь Кольский – гордость.

Вот так, для дела пожалуйста, а зря – не губи. Верный подход, продиктованный не только суровой необходимостью, но и логикой мысли.

Та новая заставка, о которой мы мечтали, будет к осени. А

пока старенькая, приземистая, подслеповатая, как все деревянные дома северные, стоит и светится желтым светом керосиновых ламп. Не спят солдаты. А уж далеко за полночь.

Часовой по заставе выскользнул из серебристой прозрачности и привычно доложил, что все спокойно и признаков нарушения границы не обнаружено. Потом уже совсем не по инструкции поздоровался и поздравил:

– С приездом, товарищ старший лейтенант.

– Спасибо, Яркин.

– Нерадостный приезд только... – вздохнув, проговорил вроде для себя Петр Яркин и поспешил к кнопке звонка, вмонтированной в стену недалеко от крыльца, чтобы сообщить дежурному о моем приходе. Солдатская система оповещения работала четко: один звонок – начальник заставы, два – значит я, его заместитель. О приходе старшины извещают тремя звонками. Выбегает тогда дежурный по заставе на крыльцо встречать начальство, а пока он докладывает, в казарме все, кто не спит, наводят моментальный марафет: шинели и куртки на вешалке подправят, сапоги и валенки в сушилке поровней составят, книги в тумбочки уберут – все, что успеют, сделают. Сейчас мне не хотелось, чтобы к встрече со мной так готовились, и я остановил часового.

– Не нужно, Петр, не звони.

Миновав крохотные темные сенцы, я вошел в тусклый, освещенный прикрученной керосиновой лампой, довольно узкий коридор, который мы называли комнатой дежурного.

На стенках, между дверьми в столовую, в канцелярию и в спальню, висели планшеты с положенной документацией, а в простенке между окон стоял столик с коммутатором.

В дежурке – никого. Из спальни доносился басок прапорщика Терюшина:

– Переждать, говоришь, надо бы. Знаешь, по осени и баба умная. Шторм-то их на полпути застал.

Терюшину возразил Гранский:

– Нас погоду предсказывать по местным признакам учили.

– Что верно, то верно. Только, видать, не усек на этот раз и сам. И то подумать, разве всякий раз усечешь? Я уж тут, на этом самом Кольском, сызмальства, а года три назад меня едва не задуло. Случай спас: дед Савелий до ветра вышел. У самой его уборной я лежал обезноженный. Время уже весеннее, день силу набирал. На обогреватель уже наблюдателей высылали. Сбегаю, решил, проверю, все ли там в порядке. Ночью ушел, чтобы к рассвету, значит, там быть.

– Спали или бодрствовали? – перебил прапорщика вопросом кто-то из солдат.

– Ишь ты, спали! Службу несли. Что, они хуже тебя были, да? – сердито ответил старшина и продолжил привычным баском: – Почаевал там, позвонил на заставу, что выхожу, значит, и пошагал. На самой середке пути – моряна налетела. Заряды – хоть глаз коли. А прежде никаких примет не заметил. Только когда с заставой говорил, в трубке слишком

потрескивало. Ну, подумал, контакт какой, связистам, стало быть, сказать следует. Даже пробрать их намерился. А оно – вон от чего.

Помолчал немного, как бы давая понять, что сейчас речь пойдет о самом главном, и вновь забасил:

– Все как положено поступил. На линию связи вышел и с розетки позвонил: иду, значит, все в порядке. А порядка не вышло. Обезножил. Первый раз в жизни так получилось: понимаю головой, что идти нужна, иначе пропаду, а ноги, что твоя треска моченая. Полкилометра всего до становища, а мне – хоть ложись и помирай. Глоток бы горячего чая, да хлебца кусочек – чуток силенок добавилось бы. Да где взять хлеб с чаем? Теперь без НЗ не хожу, да и вам всякий раз твержу, что нужно кусок хлеба и сахару чуток в кармане держать, когда на границе. Но тогда не клевал еще жареный петух в мягкое место.

На этот раз замолчал минут на несколько, будто испытывая терпение слушателей. Заговорил подавленно, словно вновь оказался в том страшном положении:

– Сцепил зубы, кулаки сжал – иду. Правильней будет – ноги переставляю. А как увидел сквозь заряд дом деда Савелия, так вроде кто по ногам вдарил дрючком. Потом, помню, полз. Я еще думал, раз на заставу звонил, не вдруг хватятся. Околел бы, но не случай. Дед Савелий до сих пор удивляется: надо же, говорит, приспичило вдруг. Живот его, видать, телепатией наделен.

– Вы же один, а они вдвоем были, – жестко проговорил Гранский. – А погиб, между прочим, только один.

В казарме стало тихо-тихо. Мои шаги гулко вспугнули тишину – солдаты, тесно сидевшие на кроватях нижнего яруса, повскакивали, дежурный вскинул руку к фуражке и начал было докладывать по форме, но я остановил его и сказал остальным:

– Сидите, сидите.

Я тоже сел на кровать напротив Гранского. Пока я слышал мнение только одного ефрейтора о случившемся, с ним и начал разговор:

– Начальник заставы винит себя в том, что не оставил Силаева. Добрался бы до поста наблюдения, дал знать на заставу. И найти Силаева было бы легче. Минимум часа на два раньше помощь бы пришла.

– Теперь-то всяко можно прикидывать, – пробурчал ефрейтор Ногайцев. – Только вот товарищ прапорщик приводил мне как-то умную пословицу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.